

592
ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА



ФРАНЦИЯ

ГЮИ ДЕ-МОПАССАН

В ДЕРЕВНЕ
И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ

ВЫПУСК
№ 32



ПЕТЕРБУРГ
МCMXX

10



W 243
538
Вып. № 32

ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

ГЮИ ДЕ-МОПАССАН

GUY DE MAUPASSANT

1850 — 1893

В ДЕРЕВНЕ

И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ

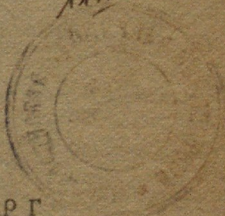
ПРЕДИСЛОВИЕ
Р. ГРИГОРЬЕВА



П Е Т Е Р Б У Р Г

1 9 1 9

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“
при Народном Комиссариате по Просвещению



ПРЕДИСЛОВИЕ.

Знаменитый французский писатель, оставивший глубокий след не только в родной, но и в мировой литературе, прожил всего 43 года. Его унесла в могилу самая страшная болезнь, которая только может поразить человека вообще и художника-мыслителя в особенности: он умер (в 1893 г.) в сумасшедшем доме.

Природа наградила его тончайшим мозгом, одарила редкостным даром исследователя человеческого сердца, одарила исключительным литературным талантом,—но с Мопассаном, как с личностью, сыграла жестокую игру: впитав в себя, точно губка, окружающий мир во всем его многообразии, во всей сложности взаимоотношений, душа художника, так ярко отразившего жизнь современного человечества и современной человеческой души, сама болезненно надломилась, перегруженная собственным богатством.

Анри-Рене-Альбер-Гюи де-Мопассан родился в 1850 году в знатной, но разорившейся семье нормандского дворянина. Он участвовал, как солдат, во франко-прусской войне 1870-71 гг., которую запечатлел впоследствии в ряде рас-

сказов, лучших в богатой литературе, посвященной войне.

Стесненное положение вынудило молодого Мопассана поступить на службу в морское министерство, где он в течение 10 лет тянул чиновничью ляжку. Разумеется, и этот опыт не прошел для него бесследно: Мопассан прекрасно изучил бюрократический мир, давший ему не мало материала для его литературных работ.

В течение этого времени Мопассан близко сошелся с двумя крупнейшими писателями современной ему Франции: Эмилем Золя и Густавом Флобером, приходившимся ему родственником. Под влиянием этого общения и складывалась литературная физиономия художника: от Золя он заимствовал беспошадную правдивость и интерес к общественным явлениям, от Флобера — изящество языка, требовательность к форме изложения и крайнюю внимательность к душевной жизни человека.

Первый рассказ Мопассана появился в печати в 1880 году *), — таким образом, всего за 13 лет до смерти, но и этот краткий период прерывался неоднократно приступами болезни. Первые признаки душевного расстройства обнаружались у Мопассана еще в 1884 году, затем в 1891 писатель покушался на самоубий-

*) Сначала Мопассан писал стихи; несколько лет он работал, но не печатался по совету Флобера, требовавшего, чтобы начинающий писатель прежде овладел своим ремеслом совершенстве.

ство, а в 1892 г., уже в неизлечимом состоянии, он был помещен в больницу, где через год и скончался.

Несмотря на непродолжительность времени посвященного Мопассаном литературе, и вообще на краткость всей его жизни, он оставил после себя обширное наследие — в виде романов, повестей, рассказов, пьес, описаний путешествий и размышлений. Но, разумеется, ценность этого наследия определяется не количеством, а несравненным его качеством, создавшим Мопассану мировое имя.

Мопассан — один из величайших сердцеведов, знаток малейших движений человеческой души. В его произведениях перед читателем проходят сотни, если не тысячи людей, самого разнообразного общественного положения: мы встречаем у него чиновников и рабочих, офицеров и буржуа, солдат и курортных бездельников, миллионеров и крестьян, обитателей и посетителей публичных домов, мелких рантье (т. е. людей, живущих на доходы с их капиталов), — но все это не сливается в один пестрый клубок: каждая личность вполне самостоятельна, не похожа на другую, у каждого свое лицо, свой душевный мир. Герои его произведений не какие-нибудь исключительные люди, выделяющиеся из своей среды, это обыкновенные средние люди, вмещающие в себе все основные черты своего класса или профессии. Но Мо-

Мопассан умеет одновременно показать в человеке типическое, свойственное ему, как представителю определенной группы, и личное, составляющее неотъемлемую „собственность“ данного человека.

Образы, созданные Мопассаном, так ярки и правдивы, что оставляют впечатление подлинной жизни, и на каждой его странице проступает ее горячая кровь. Проницательный взор писателя не пропускает ни одного уголка человеческой души, каждый поступок показан, если можно так выразиться, „в разрезе“, вскрывающем пружины, его обусловившие. Мопассан не читает морали, не говорит, что то плохо, а это хорошо: он вполне об'ективен—почти до бесстрастности, как об'ективна и бесстрастна сама жизнь. Человек живет и действует так-то и так-то, это объясняется такими-то и такими-то свойствами его социальной и личной природы,—вот что дает Мопассан, а выводы пусть делает сам читатель. И в итоге, картины, созданные Мопассаном, в их убедительной правдивости, с их яркой силой изображения всего важного и значительного в человеческой жизни,—дают мысли и чувству читателя гораздо больше, чем многие нарочито „поучительные“ произведения других писателей. Не даром такой требовательный в вопросах нравственности человек, как Лев Толстой, назвал Мопассана одним из наиболее „моральных“ писателей.

Дар Мопассана тем более изумителен, что результаты столь широкого исследования жизни он сумел вместить почти целиком в форму небольшого рассказа. У него есть, правда, несколько замечательных романов („Жизнь“, „Наше Сердце“, „Пьер и Жан“, „Милый Друг“, „Монт-Ориоль“), но характернее для Мопассана именно его краткий, но вполне законченный рассказ. Этому несравненному искусству запечатлеть на нескольких страницах жизнь и душу человека у него учились лучшие европейские писатели. Так, у нас, в виде особой похвалы, Чехова называют „русским Мопассаном“.

В литературной деятельности Мопассана заслуживает особенного внимания тот интерес, который ему удалось вызвать к деревне и крестьянскому быту.

Как это не представляется на первый взгляд странным, но Франция, являющаяся по преимуществу страной мелкого крестьянского хозяйства (статистика начала XX века определяет население, живущее в деревнях, в 55,8³/₁₀), в литературе весьма мало отражала жизнь этой большей части французского народа.

В России вся литература XIX века „пропахла мужиком“, и художники беспрерывно поддерживали преемственный интерес к жизни крестьянина, при чем одни указывали на нее, как на образец праведности, до которой сли-

дует подняться „опрошением“ (Толстой), другие будили жалость к „меньшему брату“ (Григоревич), третьи прихорашивали мужика и приглашали усматривать в общине высшую социалистическую форму жизни, или же вскрывали стихийную „власть земли“, тяготеющую над всем укладом деревни и определяющую душевный мир крестьянина (народники).

Во Франции же, где деревня, правда, не занимает такого места, как в России, но все же является определяющей социальной силой страны, мы не встречаем даже отдаленного подобия такого литературного внимания к крестьянству.

В течение первой половины XIX века, т. е., когда деревня еще не была столь подточена ходом капиталистического развития и, стало быть, представляла собой гораздо более значительную, чем позже, величину—мы только у двух писателей,—правда, крупнейших представителей эпохи,—встречаем кое-что о деревне: у Жорж-Занд и у Бальзака.

Говорить о том, что крестьянские повести Жорж-Занд отразили сколько-нибудь верно современную ей действительность, не приходится. Сама писательница в предисловии к наиболее значительной из этих повестей („Чертово болото“) говорит, что искусство не есть исследование данной действительности, а искание „идеальной правды“, т. е. художник

должен описывать жизнь не такой, какова она есть, а какой он хочет ее видеть, что цель художника—пробудить любовь к описываемому им предмету, и не будет, поэтому, греха, если ради того придется прибегнуть к прикрасам. Но если Жорж-Занд дала вместо „настоящих“ крестьян поэтическую идиллию или пастораль, то Бальзак своими „Крестьянами“, вышедшими почти одновременно (1840 г.), впал в другую крайность,—он изобразил крестьянство, „одержимым почти сплошь „дурными наклонностями“ которые нуждаются в соответствующей системе подавления. Но, как бы то ни было, „Крестьяне“ Бальзака—едва ли не единственный крупный, памятник, посвященный деревне за три четверти слишком XIX века. Лишь Монассан в 80-х и 90-х годах широко раскрыв двери для обойденного мужика.

В чем же кроется основная причина такого поразительного невнимания? Почему французские писатели проходили мимо деревни, словно не замечая миллионов людей—подлинного народа Франции, — живущих своей особенной жизнью?

Ключ к объяснению этого непонятого на первый взгляд явления следует искать в особенностях социального и политического развития страны. В силу целого ряда сложных причин, в рассмотрение которых невозможно впасть в небольшом очерке, с конца XVIII

и особенно в течение XIX века, Париж стал господином Франции. „Господином“ не в том смысле, что это — столица государства, крупный город вообще средоточие управления и т. п., — подобным господством обладает любая столица. Но Париж, в отличие от своих европейских собратьев, как бы поглотил, вытеснил всю остальную страну. Можно было сказать, что не Франция имеет своей столицей Париж, а при Париже состоит Франция. Париж устраивал революции, свержал королей, возводил новых на трон, объявлял войны всему миру, державно диктовал свою волю стране. Там зазывались все политические драмы, создавались сказочные карьеры, бурно клокотали кровь, золото и грязь, творя и разрушая; там рождались новые идеи, грандиозные замыслы, величественные планы, то претворявшиеся в действительность, когда речь шла о затеях хитриков-дельцов, то остававшиеся мечтами „утопистов“, если эти идеи исходили из принципов справедливости и человеколюбия. Из страстной борьбы этих нескольких сотен тысяч взрослого мужского населения Парижа за права и мечты свои, борьбы, нередко доходившей до баррикад, рождались перевороты, эти люди накладывали на всю жизнь страны новую печать, порой преобразовывавшую даже международные отношения. Каждый, кто хотел выдвинуться, кто мечтал о карьере, кто

задумывался о счастье человечества — стремился в этот город. Сколько провинциальных бедняков слеталось туда, сколько двадцатилетних Наполеонов, приехавших „покорить Париж“, а стало быть, и весь мир, перевидали парижские чердаки!

Париж — это Франция, но в нем короли, министры, депутаты, журналисты, блузины, проститутки, поэты, актеры, швейцары, иностранцы, нищие, адвокаты, просто бездельники, — а крестьян там не было. И французская литература, которая жила одним Парижем (ибо ведь Париж — это Франция!), бесподобно отразила великий город в его взлетах и падениях, в его яркости и многообразии, во всей сложности и противоречивости его жизни, — но деревни, мужика не дала и не могла дать.

Разумеется, всемогущество Парижа, его великодержавие и полная независимость от страны, при всем чудовищном централизме, существующем во Франции, являлись в значительной мере лишь одной видимостью.

Сколько-нибудь внимательный анализ исторических событий в жизни Франции показывал, что в конечном счете они обуславливались волей и интересами как бы „безмолствовавшей“ массы населения. На всех важнейших этапах исторической жизни Франции последнего века, — от Термидоровской реакции, положившей конец великой французской революции, до тра-

гической гибели Коммуны, — отчетливо виден след каблука мужицкого „сабо“ *).

Все героические порывы Парижа осаживались чьей-то, словно невидимой, грубой и жесткой рукой, и это неизменно была рука крестьянина — опоры „порядка“, клерикализма и всяческой реакции, крестьянина, переполненного злобой и недоверием к „городской сволочи“, ко всем этим смутьянам и безбожникам.

Этой реакционной ролью крестьянства объясняется отрицательное отношение к нему со стороны Бальзака, резко выраженное им в его великолепной книге „Крестьяне“. Бальзак в этом романе тоже далеко не либерал, но можно быть консерватором по чувству отчаяния, по страху городского человека пред темною силою деревни.

Мопассан начал свою литературную деятельность через десятилетие после разгрома Коммуны и военного поражения Франции 1870—71 г., когда буржуазия, расправившись с пролетарской революцией, закладывала основы своей „республики“ в союзе с мелким хозяином, с крестьянином, которого она заинтересовала, как кредитора, во внешних займах. „Демократический“ по форме, глубоко реакционный и бюрократический по суще-

*) Деревянная обувь, которую носят французские крестьяне.

ству, режим покоился на этом союзе крупной империалистической и мелкой городской и сельской буржуазии, — союзе во всех отношениях наступательном: против пролетариата и социализма и во имя „реванша“ — восстановления военной мощи Франции. Возродился шовинизм, в самой первобытной форме, проповедывалось первенство Франции, как главной носительницы культуры и цивилизации.

И вот, в разгар этого опьянения „возрождающейся“ нации, Мопассан стал выбрасывать один за другим свои рассказы, посвященные изображению жизни большинства этой нации.

Мопассан не преследовал никаких политических задач: то был, поскольку это мыслимо аполитичный (чуждый политике) писатель и, во всяком случае, не социалист, не идеолог рабочего класса. Чуждый предвзятости, объективный, беспристрастный и глубокий наблюдатель, он говорил одну лишь правду. А какова эта правда, могут судить сами читатели. Безо всякого негодования, без излишних обличений и проповедей, художник снимает покров с подлинной Франции, и Париж увидел, наконец, то, что казалось ему несуществующим.

Вот он — настоящий хозяин страны: темный, суеверный, алчный, тупой, раб своей земли, весь ушедший в собиранье экю *), с душой, це-

*) 5-ти франковая монета.

ликом захваченной интересами хозяйства, с чувствами и понятиями, определяемыми франком.

Рассказы Мопассана о французской деревне сказали больше, чем все научные трактаты на эту тему. Они прозвучали, как голос предостережения, как грозное напоминание о действительности. Они обнаружили существование двух наций, двух культур в „единой“ Франции, они вскрыли ту глубокую и опасную пропасть, которая лежит между Парижем и деревней.

Эта сторона творчества Мопассана не могла пройти бесследно. Под влиянием его заметно вырос интерес к деревне. В 1888 году появился роман Эмиля Золя „Земля“, давший большую и цельную картину „идиотизма деревенской жизни“. С другой стороны, как бы в виде протеста против подобного „оклеветания“ деревни, появилось своего рода „сентиментальное народничество“. Один из его виднейших представителей, Ренэ Базен (род. в 1853 г.), взял под свою защиту крестьянство, изображая в радужных красках деревенскую жизнь и быт, при чем, как ярый враг социализма и сторонник церкви, противопоставил „разврату“ города набожность и патриархальность деревни, а крепкую привязанность к земле крестьян старого закала — „бродяжничество“ фабричного рабочего.

Так, под непосредственным влиянием Мопассана, деревня завоевала свое место во фран-

пузской литературе. Но никто не мог сравниться с Мопассаном в изумительном даре изображения крестьянского быта и психологии.

Не легко оценить все достоинства этих несравненных произведений, это исключительное мастерство рассказчика, заставляющего читателя, посвятившего чтению 5—10 минут, понять своеобразную, сложную, и в тоже время простую душу крестьянина. Обычное спокойствие и глубокое проникновение в человеческую психику (душевный уклад) никогда не изменяют Мопассану. Он нисколько не негодует, когда повествует, например, о том, как крестьяне справляют поминки по умирающем, по живом еще старике-родителе, как ждут не дождутся этой смерти („Старик“). Это так ясно: хозяину надо работать, пересаживать виноградные лозы, пора страдная, и, если заблаговременно не созвать соседей на поминки, в расчете, что тем временем старик умрет, то пострадает крестьянское хозяйство, так тесно связанное с временами года, погодой и т. п.

Парень влюбляется в девушку, у которой внебрачный ребенок от другого, но старик-отец, глухой „дядюшка Аиабль“, противится браку сына. Но, да не подумает читатель, что это упорство объясняется соображениями нравственного порядка: в деревне невинность девушки не играет большой роли. Но крестьянская жадность заставила его прикинуть в уме,

сколько с'ест чужой ребенок, пока станет на ноги. Вот это именно обстоятельство и заставило старика „загореться бешеным гневом“ против сына, которого любовь настолько ослепила, что тот „об этом и не думает“.

Так, в каждом рассказе, как в зеркале, отражается небольшой осколок бытия, всегда дающий у Мопассана представление о всей глубине и сложности человеческой жизни.

Раф. Григорьев.



С
близ
избу
родн
тей.
утра
окна
ждо
году
и ро
и те
С
общ
Восе
у ни
бенк
имен
П
Роль
был
чуге
маль
В

В ДЕРЕВНЕ.

Обе избышки стояли рядом у подножья холма, близ маленького купального городка. Хозяева избышек упорно трудились, обрабатывая плодородную землю, чтобы вырастить своих детей. В каждой семье было по четверо ребят. С утра и до вечера эта куча детей копошилась под окнами хижин, стоявших рядом. Старшим в каждой семье было по шести лет, а младшим по году с небольшим; браки в обеих семьях, а затем и рождения происходили приблизительно в одни и те же сроки.

Обе матери едва различали своих детей в общей куче, а отцы окончательно их путали. Восемь имен беспрестанно вертелись и путались у них в голове, и, когда надо было позвать ребенка, мужчины перебирали по три, по четыре имени, прежде чем напасть на настоящее.

Первая хижина, если подходить от источника Рольпор, принадлежала семье Тюван, в которой были три девочки и один мальчик; в другой лачуге жили Валэны, с одной девочкой и тремя мальчиками.

Все они скудно питались похлебкой, картофе-

дем и чистым воздухом. В семь часов утра, в полдень и в шесть часов вечера хозяйки созывали малышей, подобно тому, как гусятицы скликают гусей, и кормили их супом. Дети сидели в ряд, по старшинству, за деревянным, доснившимся от пятидесятилетнего употребления столом. Младший едва доставал до него подбородком. Перед малышами ставили миску с хлебом, размоченным в воде из-под вареного картофеля, с капустой и тремя луковичками; вся компания наедалась досыта. Мать кормила сама младшего мальчика. По воскресеньям все получали по куску говядины в мясном супе, в виде праздничного угощения; отец в эти дни подолгу не вставал из-за стола, повторяя: «Я не прочь бы так обедать каждый день».

Однажды, после полудня, в августе месяце, перед дачугами остановился легкий экипаж, и молодая женщина, сама правившая лошадей, сказала сидевшему с нею рядом мужчине:

— О, Анри, взгляни на эту кучу детишек, копошащихся в пыли. До чего они милы!

Мужчина ничего не ответил, привыкнув к этим выражениям восторга, причинявшим ему боль и звучащим почти упреком ему.

Молодая женщина продолжала:

— Я должна их расцеловать! О! как бы мне хотелось иметь вот этого,—самого маленького!

Выпрыгнув из экипажа, она подбежала к детям, взяла на руки одного из младших, маль-

чишку Тюваши, и начала осыпать горячими поделуями его грязные щечки, его светлые кудри, полные песку, его рученки, которыми он отбивался от надоедливых ласк.

Затем она села в экипаж, который умчался быстрою рысью. Но через неделю она вернулась снова, уселась на землю среди детей, взяла малыша на колени, пичкала его сладкими пирожками и оделила конфетками остальных детей; она играла с ними, как девчонка, пока муж терпеливо ожидал ее, сидя в хрупком экипаже.

Несколько времени спустя она приехала снова, познакомилась с родителями и стала приезжать ежедневно с набитыми лакомствами и мелкою монетою карманами.

Звали ее мадам Анри д'Юбьер.

Однажды утром, под'ехав, она вышла вместе с мужем и, не останавливаясь около малышей, которые теперь отлично ее знали, прошла в дачугу.

Хозяева в это время кололи дрова, чтобы варить суп; удивленные, они бросили работу, подали стулья и ждали. Тогда молодая женщина дрожавшим, прерывистым голосом сказала:

— Добрые люди, я пришла к вам, так как мне очень хотелось бы... очень хотелось бы увезти с собою вашего... вашего мальчика...

Крестьяне, пораженные, не зная, что сказать, молчали.

Она перевела дыхание и продолжала:

— У нас нет детей. Мы одни с мужем... Мы хотели бы взять его к себе... Согласны ли вы?

Крестьянка начинала понимать. Она спросила:

— Вы хотите, чтобы мы отдали вам Шарло? Ну, разумеется, нет!

Тут вмешался г. д'Юбьер:

— Жена моя неясно выразилась. Мы хотим его усыновить, но он будет приезжать к вам видаться. Если он оправдает наши надежды, чему есть основание верить, то мы сделаем его нашим наследником. Если у нас будут дети, он получит равную с ними долю. Но, если он не оправдает наших забот, по достижении им совершеннолетия, мы дадим ему капитал в двадцать тысяч франков, который будет теперь же положен на его имя у нотариуса. А так как мы позаботились и о вас, то вы будете получать пожизненно ежемесячную ренту в сто франков. Хорошо ли вы поняли то, что я говорю?

Фермерша поднялась, взбешенная:

— Вы хотите, чтобы я продала вам маленького Шарло? Ни за что! Этого нельзя требовать от родной матери! Ах, ни за что! Это была бы гнусность!

Крестьянин степенно молчал; но постоянным киванием головы давал понять, что согласен с женой.

Госпожа д'Юбьер принялась растерянно плакать и, обращаясь к мужу со слезами в голосе, как ребенок, все желания которого обычно исполняются, прошептала:

— Они не хотят, Ари, не хотят.

Тогда они сделали последнюю попытку.

— Но, друзья, подумайте о будущности ребенка, о его счастье...

Выведенная из себя крестьянка прервала их:

— Обо всем подумано, все понятно... Убирайтесь, и чтобы вашего духа тут не было! Где это слыхано, чтобы так отнимать детей!

Тогда мадам д'Юбьер вспомнила, уходя, что малышей было двое, и сквозь слезы спросила, с упорством избалованной женщины, не привыкшей ждать:

— А другой мальчик, ведь, не ваш?

Дядя Тюваш ответил:

— Нет, это соседний; вы можете зайти к ним, если хотите.

И он вернулся в дом, откуда раздавался негодующий голос его жены.

Валзны, муж и жена, сидели за столом и медленно ели ломти хлеба, лежавшие перед ними на тарелке и скупо намазанные маслом.

Г. д'Юбьер обратился к ним с своим предложением, но на этот раз более осторожно, более вкрадчиво, более искусно.

Крестьяне покачивали головою в знак отказа;

но, узнав, что будут получать по сто франков ежемесячно, взглянули друг на друга, как бы советуясь, и очень взволнованные.

Долго молчали они, колеблясь. Наконец, жена спросила:

— Что ты на это скажешь, отец!

Он проговорил наставительно:

— Скажу, что над этим следует подумать.

Тогда г-жа д'Юбер, трепеща от ожидания, заговорила о будущем ребенка, о его счастье, о денежной помощи, которую он будет оказывать им впоследствии.

Крестьянин спросил:

— Эту ренту в тысячу двести франков вы внесете нотариусу?

Г-жа д'Юбер отвечала:

— Разумеется, завтра же.

Фермерша, пораздумав, сказала:

— Сто франков в месяц мало за то, что мы лишаемся ребенка; через несколько лет он сможет работать; нам следует сто двадцать франков.

Г-жа д'Юбер, дрожа от нетерпения, тотчас же согласилась; намереваясь взять ребенка с собой, она дала еще сто франков в виде подарка, пока ее муж писал условие.

Деревенский старшина и сосед-крестьянин, позванные тут же, охотно согласились быть свидетелями.

И молодая женщина, сияя, увезла с собою ревешнего малыша, как увозят из магазина желанную безделушку.

Муж и жена Тюваш, стоя на пороге, смотрели вслед отъезжавшим, молчаливые, суровые, быть может, сожалея о своем отказе.

О маленьком Жане Валэн долго ничего не было слышно.

Родители каждый месяц получали у нотариуса сто двадцать франков; они были в неладах с соседями, так как тетка Тюваш осыпала их ругательствами, не переставая повторять в каждой избе, что надо быть уродами для того, чтобы продать родного ребенка, что это ужас, гнусность, разврат.

Порою, она с тщеславием брала на руки маленького Шарло и кричала, словно он мог ее понять:

— Я вот тебя не продала, моя крошка, не продала. Я не торгую детьми. Я не богата, но детей не продаю.

И так повторялось долгие годы, ежедневно; ежедневно у входа в дом выкрикивались грубые намски, чтобы их слышно было в соседней хижине. В конце концов, тетка Тюваш вообразила себя выше всех в округе только потому, что не продала своего маленького Шарло. Говоря о ней, обычно прибавляли:

— Конечно, это было заманчиво, тем не менее она поступила, как честная мать.

Ее ставили в пример; и Шарло, которому было восемнадцать лет и который вырос с тою мыслью, беспрестанно внушаемой ему, стал тоже считать себя выше товарищей, потому что он не был продан.

Валэны, благодаря ренте, жили теперь безбедно. Старший сын их отбывал воинскую повинность, второй умер.

Их довольство питало ненасытную злобу Тюпаней, живших попрежнему в бедности. Шарло был единственным помощником старика отца и вместе с ним выбивался из сил, чтобы прокормить мать и двух сестер.

Ему исполнился двадцать один год, когда однажды утром перед хижинками остановилась щегольская коляска. Из нее вышел молодой человек, с золотою цепочкою, и при часах, и подал руку пожилой даме с седыми волосами. Дама сказала:

— Здесь, дитя мое, вторая избушка.

И он вошел, словно в свой дом, в лачугу Валэнов.

Старуха-мать стирала фартуки; больной отец дремал у очага. Оба взглянули на него; молодой человек сказал:

— Добрый день, папаша; добрый день, мамаша.

Оба вскочили, испуганные. Крестьянка от волнения уронила в воду мыло и бормотала:

— Ты ли это, мое дитя? Ты ли это, мой сын?

Он обнял ее и расцеловал, повторяя: «Здравствуй, мама». А старик, весь дрожа, говорил спокойным тоном, который ему никогда не изменял: «Вот ты и вернулся, Жан!» словно видел его месяц назад.

Когда они освоились друг с другом, родные захотели пойти сейчас же с сыном по деревне, чтобы показать его. Отправились к старшине, к священнику, к учителю.

Шарло, стоя на пороге своей избышки, видел, как они проходили мимо.

Вечером, за ужином он сказал отцу:

— Как могли вы быть такими дураками, чтоб допустить взять мальчишку Валзюв.

Мать отвечала упрямо:

— Я не хотела продавать моего ребенка.

Отец молчал. Сын продолжал:

— Разве это не несчастье, что меня принесли в жертву?

Тогда старик Тюваш сказал сердито:

— Не станешь же ты упрекать нас за то, что мы тебя не отдали!

Парень сказал грубо:

— Нет, стану, потому что вы дураки! Такие родители, как вы—несчастье для детей. Вы заслуживаете того, чтобы я ушел от вас.

Старушка плакала над своей тарелкой. Хлебая ложкой суп и проливая половину, она просто-нала:

— Вот и надрывайся после этого ради детей!

Тогда парень сказал жестко:

— Я лучше желал бы не родиться вовсе, чем быть тем, кто я теперь. Когда я увидел сейчас того, вся кровь во мне остановилась. Я сказал себе: вот, кем я мог бы теперь быть.

Он встал.

— Послушайте, я чувствую, что мне лучше не оставаться здесь; я буду целые дни упрекать вас и отравлю вам жизнь. Этого, видите ли, я вам никогда не прощу!

Старики молчали, убитые и в слезах.

Он продолжал:

— Нет, эта мысль слишком жестока. Я лучше пойду зарабатывать хлеб в других местах.

Он отпер дверь. Ворвался шум голосов. Валены пировали по случаю возвращения сына.

Тогда Шарло топнул ногою и, обернувшись к родителям, крикнул:

— Мужичье!

И исчез в темноте ночи.

Перевод с французского

А. Чеботаревской.



Э
обед
домо
домо
О
бога
неи
пол
Д
вала
нее
бедр
перел
Н
дист
сзиди
ротки
ветра
Бе
предс
обраи
А
славн

ДОЧЬ МАРТИНА.

Это случилось с ним в воскресенье, после обедни. Он вышел из церкви и шел по дороге домой; по этой же дороге возвращалась к себе домой и дочь Мартина.

Отец ее шел с ней рядом, важной поступью богатого фермера. Он презирал блузу и носил нечто в роде куртки из серого сукна и широкополую шляпу.

Дочь была затянута в корсет, который надевала раз в неделю, и держалась прямо; талия у нее была перетянута, плечи широкие, крутые бедра сильно выступали; на ходу она немного переваливалась.

На ней была шляпа с цветами, изделия модистки из Ивето; прическа оставляла открытой сзади крепкую, круглую, стройную шею, с короткими волосками, порывжевшими от солнца и ветра.

Бенуа видел только ее спину, но он хорошо представлял себе лицо девушки, хотя никогда не обращал на нее особого внимания.

А тут вдруг он подумал: «Клянусь честью, славная девка эта Мартинова дочка». И он

смотрел ей вслед с внезапным восхищением, чувствуя, как в нем загорается желание. У него не было охоты заглянуть ей в лицо, нет, но он не спускал глаз с ее стана, повторяя про себя, будто разговаривая с кем-то: «Клянусь честью, славная девушка».

Мartiнова дочь повернула направо к ферме своего отца, Жана Мартина: тут она обернулась и увидела Бенуа, который показался ей забавным. Она крикнула ему: «Здравствуй, Бенуа». Он ответил: «Здравствуй, Виктория, здравствуйте, господин Мартин», и пошел своей дорогой.

Когда он пришел домой, суп был уже на столе. Он занял свое место напротив матери, рядом с работником и поденщиком, а работница пошла за снадором.

Проглотив несмолько ложек, он отставил свою тарелку.

— Тебе нездоровится?—спросила его мать.

Он отвечал:

— Нет, но у Меня как будто какой-то ком в животе и есть не хочется.

Он смотрел, как все ели, по временам отрезывая себе кусочек хлеба, медленно клал его в рот и лениво долго пережевывал. Он думал о Мартиновой дочке. «Как ни как, славная девушка». И как это он не замечал ее раньше, а теперь, вдруг, она поразила его так, что он даже есть не может.

Он почти
рила ему:

— Ну же
это баранья
аппетита, ну

Он прогл
опять отодв
идет в горло

Когда вст
по своему уч
по дороге вз

По случая
Местами па
еровы, со в

мнышке сво
стались на
приготовленн

и четырехуг
ми полосами,
короткие стёб

Суховатый
внине пред
то заката. Б

ляпу на кол
стрить голов
слух выгово

лавная девка
И вечером,
роснулая, он

Он почти не дотронулся и до рагу. Мать говорила ему:

— Ну же, Бенуа, приневожь себя немножко, это баранина, поешь, тебе будет лучше. Когда нет аппетита, нужно себя приневождать.

Он проглотил несколько кусочков, но потом опять отодвинул тарелку; нет, положительно не идет в горло.

Когда встали из-за стола, он пошел пройтись по своему участку, отпустил поденщика и обещал по дороге взглянуть на скотину.

По случаю дня отдыха в полях было пусто. Местами на клеверном поле тяжело возлежали коровы, со вздутыми животами, пережевывая на солнышке свою жвачку. Выпряженные телеги потонули на углах полос; вспаханные участки, приготовленные к посеву, коричневыми длинными четырехугольниками тянулись между желтыми полосами, на которых оставались перегибать короткие стебли недавно скошенных ржи и овса.

Суховатый осенний ветерок проносился по долине предвещая свежий вечер после солнечного заката. Бенуа сел на краю канавы, положил голову на колени, словно ему нужно было проветрить голову, и среди глубокой тишины полей глухо выговорил: «Вот хороша, так хороша! Главная девка!»

И вечером, лежа в постели, и на утро, когда проснулся, он все думал о ней.

Он не был печален, и не был недоволен; и не мог бы сказать, что с ним. Но что-то его захватывало, что-то зацепилось за душу, какая-то неотвязная мысль, которая как бы шекотала его сердце. Иной раз большая муха залетит вот так же в комнату. Слышишь, как она летает и жужжит, и это не дает покоя, раздражает. Вдруг она сидит: о ней и забудешь, но вот она опять примется кружиться и жужжать, и опять невольно поднимешь голову. Невозможно ни поймать ее, ни выгнать, ни убить, ни усадить на место. Только присядет и уж снова жужжит.

Воспоминание о Мартиновой дочке носилось в душе Бсуга, как муха, запертая в комнате.

Потом его охватило желание повидать ее, и он несколько раз прошел мимо Мартиновой фермы. Наконец, ему удалось увидеть ее: она развешивала белье на веревке, протянутой между двумя яблонями.

Был жаркий день; на ней была только короткая юбка и рубаха, под которой рельефно обрисовывались мышцы спины, когда она поднимала руки, чтобы повесить на веревку белье.

Он просидел подле канавы больше часа после того, как она уже скрылась. Затем вернулся домой еще более возбужденным.

В течение месяца он весь был полон ею, вздрагивал, когда при нем называли ее по имени.

Он не ел, каждую ночь у него были кошмары, не дававшие ему спать.

По воскресеньям за обедней он не сводил с нее глаз. Она заметила это и улыбалась ему; ей было лестно такое внимание.

И вот, однажды вечером он неожиданно встретил ее на дороге. Увидя его, она приостановилась. Тогда он прямо подошел к ней, задыхаясь от страха и волнения, но твердо решившись объясниться. Он начал, запинаясь:

— Послушайте, Виктория, так не может продолжаться.

Она ответила, как бы посмеиваясь над ним:

— Что это не может так продолжаться, Бенуа?

— То, что я думаю о вас по целым дням,— ответил он.

Она уперлась руками в бока:

— Я вас не заставляю...

Он продепетал:

— Нет, заставляете. Я не знаю ни сна, ни отдыха, не ем, сам не свой.

Она вымолвила совсем тихо:

— Что же надо сделать, чтобы вылечить вас от этого?

Он стоял в волнении, опустив руки, выпучив глаза, с разинутым ртом.

Тогда она ударила его по животу и убежала во всю прыть.

Начиная с этого дня, они стали встречаться возле канав, на уединенных тропинках, или под вечер, где-нибудь в полях, когда он возвращался домой с своими лошадьми, а она гнала своих коров в стойла.

Он чувствовал, что его влечет к ней сильным порывом, сердечным и телесным. Ему хотелось схватить ее, задушить в объятиях, с'есть ее, так, чтобы она вошла в него. И он ощущал трепет бессилия, нетерпения, бешенства, оттого что она не принадлежала ему всецело, не принадлежала ему так, чтобы оба они слились в одно существо.

О них уже сплетничали в деревне. Называли их сужеными. Впрочем, он уже спрашивал, хочет ли она быть его женою—и она уже ответила ему: «да».

Они выжидали только случая, чтобы поговорить с родителями.

И вдруг она перестала приходить в часы их встреч. Ему не удавалось повидать ее даже, когда он бродил с этой целью вокруг ее фермы. Только по воскресеньям за обедней он видел ее мельком. И вот, в одно из таких воскресений, после проповеди, священник громкогласно объявил с кафедры о помолвке Викторнии-Аделаиды Мартин с Жозефином-Исидором Вальном.

Бенуа почувствовал как-будто у него из рук вытекла вся кровь. В ушах стоял звон; он ничего

не
вре
молит
Це
снова
Но
постоя
ходит
чтобы
му еж
делат
Он
богат
ним
с дете
Од
нуа у
бере
чувств
конче
ше, че
по ду
Пр
ее изд
тори
нела,
рачива
тись

не видел вокруг себя и спустя некоторое время заметил, что плачет, уткнувшись в свой молитвенник.

Целый месяц он не выходил из дома. Потом снова взялся за работу.

Но он вовсе не исцелился от своей страсти и постоянно думал о Виктории. Теперь он избегал ходить по дорогам, пролегавшим возле ее фермы, чтобы не видеть даже деревьев ее сада, и поэтому ежедневно утром и вечером ему приходилось делать большой крюк.

Она была замужем за Валеном, самым богатым фермером в округе. Бенуа перестал с ним разговаривать, хотя они были товарищами с детства.

Однажды вечером, проходя около мэрии, Бенуа услышал, что говорят о Виктории, будто она беременна. Вместо огорчения, он, напротив, почувствовал как бы некоторое утешение. Теперь кончено, раз навсегда. Это раз'единяло их больше, чем брак с Валеном. Правю, так ему больше по душе.

Прошло несколько месяцев. Иногда он видел ее издали в деревне; действительно, походка Виктории сделалась тяжелой. Завидя его, она краснела, опускала голову и ускоряла шаги. Он сворачивал с дороги, чтобы, проходя мимо, не встретиться с ней глазами.

Но он с ужасом думал, что в любое утро они могут очутиться лицом к лицу и придется с ней заговорить. Что он может сказать ей теперь, после всего того, что говорилось раньше, когда он держал ее руки в своих руках и целовал ее щеки и волосы? Ему часто вспоминались их свидания около канавы. Нехорошо она с ним поступила, после стольких обещаний.

Однако, постепенно горе выветривалось из его сердца; в нем оставалась только скука. Однажды, в первый раз после долгого перерыва, он пошел по старой своей дороге мимо фермы, в которой она жила. Издали он увидел крышу ее дома. Она там! там, и живет с другим! Яблони стояли в цвету, петухи пели на навозе. Весь дом казался пустым; все люди были в поле, на весенних работах. Он остановился у изгороди и заглянул во двор. Собака спала возле конуры, три телятка медленно шли друг за другом к луже. Большой индейский петух распускал хвост перед крыльцом, красуясь перед курами на подобие певца на сцене.

Бенуа оперся на перекладину и почувствовал сильное желание заплакать. Но вдруг он услышал крик, громкий крик о помощи, доносившийся из дома. Он стал прислушиваться с растерянным видом, судорожно сжимая перекладину. Другой крик, еще более протяжный, раздирающий, проник ему в уши, в сердце, во все тело. Это она

так кричит! Он бросился вперед, пробежал двор, толкнул дверь, и увидел ее, распростертую на полу, в судорогах, с помертвевшим лицом, с блуждающими глазами, в родовых муках.

Он остановился, как вкопанный, побледнел и дрожал еще больше, чем она, и едва мог пролепетать:

— Это я, я пришел, Виктория.

Она, задыхаясь, повторяла:

— О, не оставляйте меня, не уходите, Бенуа.

Он смотрел на нее, не зная, что сказать, что сделать. Она кричала:

— О! О! Какая боль! О! Бенуа!

Она вся извивалась от боли.

Вдруг его охватило страшное желание помочь ей, утишить боль, успокоить ее. Он нагнулся, поднял ее на руки, отнес на постель; она все стонала, а он раздевал ее, снял с нее кофту, платье, юбку. Она кусала себе руки, чтобы не кричать. И тогда он стал делать то, что привык делать животным, коровам, овцам, кобылам: он помог ей при родах и принял здорового ребенка, пронзительно кричавшего.

Он обернул его, завернул в тряпку, сушившуюся перед огнем, и положил на кучу белья, приготовленного для глаженья на столе; потом вернулся к матери.

Снова положив ее на пол, он переменял белье

на постели, и потом уложил ее во все чистое. Она шептала: «О, благодарю тебя, Бенуа, какой ты хороший!» Она немного всплакнула, словно охваченная жалостью.

Он уже не любил ее больше теперь, совсем не любил. Вот когда конец. Почему? Как? Он не мог бы сказать. То, что произошло, исцелило его лучше, чем десять лет разлуки.

Она ослабевшим, дрожащим голосом спросила:

— Кого Бог дал?

Он ответил совершенно спокойно.

— Девочку, и очень миленькую.

Они снова замолчали. Спустя несколько секунд мать произнесла слабым голосом:

— Покажи мне, Бенуа.

Он пошел за ребенком и поднес его так осторожно, как будто в руках у него было причастие; как раз в этот момент распахнулась дверь и появился Исидор Валэн.

Сперва он не понял, в чем дело, но потом догадался.

Бенуа бормотал в смущении:

— Я шел мимо, шел по своему делу, а тут она стала кричать, я услышал, и вот, вошел... получай своего ребенка, Валэн!

Муж, со слезами на глазах, сделал шаг вперед, принял хрупкое создание, которое ему протягивал Бенуа, поцеловал, несколько секунд не мог вы-

молвить ни слова от волнения, потом положил ребенка на постель и протянул обе руки Бенуа:

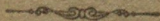
— Дай руку, руку мне, Бенуа! теперь, видишь ли, между нами все сказано. Хочешь, будем друзьями, самыми лучшими друзьями.

Бенуа ответил:

— Ну, разумеется, хочу, будем друзьями.

Перевод с французского

Е. Святловского.



ИСТОРИЯ ДЕВУШКИ С ФЕРМЫ.

1

Так как погода была очень хорошая, то работники фермы пообедали скорее обыкновенного и ушли в поле.

Служанка Роза осталась совсем одна посреди обширной кухни, где догорал огонь на очаге под котлом, полным горячей воды. Она черпала время-от-времени эту воду и потихоньку мыла посуду, отрываясь, чтоб посмотреть на два блестящие квадрата, которые солнце сквозь окно расстилало на длинном столе и в которых отражались недостатки стекол.

Три курицы, очень смелые, искали под стульями крошки. Запах птичника и кислая теплота стойла входили в полуоткрытую дверь; и в тишине палищего полдня слышно было пение петухов.

Когда девушка окончила свою работу, вытерла стол, вычистила трубу и расставила тарелки на высоком поставце в глубине кухни, около деревянных часов с громким ходом, она вздохнула, немного ослабевшая, тяготимая неизвестно чем. Она взглянула на потемневшие глиняные стены, на законченные балки потолка, откуда вместе с паутиной свешивались сушеные сельди и пучки лука; потом села, теснимая испарениями,

которые сегодняшняя жара заставляла выходить из утоптанного земляного пола, оббиваемого столько раз и столькими жидкостями. Сюда же примешивался острый запах молочных продуктов, стоявших рядом в прохладе. Все-таки она хотела заняться шитьем, по своему обыкновению, но силы изменили ей, и она пошла отдохнуть на пороге.

Тут, под лаской горячего света, она почувствовала, как что-то приятное приникает к самому ее сердцу, и жизнерадостность течет по всему ее телу.

Перед дверью, навоз испускал легкий отсвечивающий пар. На навозе, лежа на боку, валялись куры и слегка скребли одной лапой, отыскивая зерна. Посреди них гордо выпрямлялся петух. Время от времени он выбирал одну из них и начинал ходить вокруг с легким призывным кудахтаньем. Курица беспечно подымалась и принимала его со спокойным видом, послушно подгибая лапки и поддерживая его своими крыльями; потом она ветрячила с перьев пыль и снова растягивалась на навозе, в то время, как он пел, считая свои победы; и на всех дворах все петухи отвечали ему, как будто рассылая с одной фермы на другую вызовы на дуэль из-за любви.

Работница смотрела на них, не думая; потом она подняла глаза и была ослеплена блеском цве-

тущих яблонь, совсем белых, как запудренные головы.

Внезапно молодой жеребенок, обезумевший от радости, проскакал перед ней галопом. Он сделал два круга мимо канавы, обсаженной деревьями, и круто остановился, поворачивая голову, как бы удивляясь, что он один.

Ей тоже захотелось бежать, двигаться и, в то же время, ее охватило желание лечь, вытянуться, отдохнуть в горячем и неподвижном воздухе. Она сделала несколько шагов, в нерешимости закрывая глаза, охваченная чувством животной радости, потом медленно пошла в курятник подбирать яйца. Собрала тринадцать штук и принесла в кухню. Когда они были заперты в буфете, она вышла посидеть немного на траве, потому что запахи кухни снова одурманили ее.

Двор фермы, окруженный деревьями, казалось, спал. Высокая трава была могучего зеленого цвета, совсем свежего, весеннего зеленого цвета, и желтые одуванчики сверкали в ней, как огни. Тень от яблонь ложилась кругами у стволов; и соломенные крыши построек, на верхах которых распускались ирисы с листьями, похожими на мечи, слегка дымились, словно влага житниц и конюшен вылетала сквозь солому.

Работница пошла под навес, где стояли телеги и повозки. Там в канаве была большая зеленая яма, полная ароматных фиалок, а за валом

видно было поле, широкое поле, где росла жатва, там редкими кучками стояли деревья, вдали работали в разных местах люди, маленькие, как куклы, и белые лошади, похожие на игрушечных, тащили детский плуг, подталкиваемый человеком, величиною с палец.

Она пошла в овин и принесла связку соломы, чтобы бросить ее в яму вместо сиденья; но так как ей было неудобно, она развязала и разбросала солому и легла на спину, закинув руки за голову и вытянув ноги.

С удовольствием закрыла глаза, засыпая в сладкой неге. Она готова была уже совсем заснуть, как вдруг почувствовала, что две руки хватают ее за грудь и одним прыжком вскочила на ноги. Это был Жак, работник с фермы, очень развязный мадуй, который с некоторых пор начал за ней ухаживать. В этот день он работал в хлеву и, увидев, как она легла в тени, подкрался к ней волчьими шагами, задерживая дыхание; глаза его блестели, в волосах виднелись соломинки.

Он попытался ее обнять, но она, не уступая ему в силе, ударила его по щеке: и, угрюмый, он попросил прощения. После этого они сели друг около друга и дружелюбно заговорили. Они говорили о погоде, благоприятной для полевых работ, о хорошо начавшемся годе, об их хозяине, главном человеке, потом о соседях, о всей стра-

не, о себе самих, о своей деревне, о своей молодости и воспоминаниях, о родителях, которых они покинули надолго, быть может, навсегда. Она растрогалась, думая обо всем этом, а он, все с той же мыслью, подвигался, терся о нее, и весь дрожал, охваченный желанием. Она говорила:

— Так долго не видала я матери; трудно быть так далеко от своих.

И взор ее терялся в даях и летел сквозь воздух туда, к покинутой деревне, туда, туда, на север.

Он вдруг схватил ее за шею и опять обнял; но она своим твердым кулаком ударила его прямо в лицо так сильно, что у него пошла кровь из носу; он встал и подошел к дереву, чтоб опереться головой о ствол. Тогда она смягчилась и, подойдя к нему, спросила:

— Тебе больно?

Но он рассмеялся. Нет, это ничего; только она ударила как раз в середину. Он бормотал: «здорово!» и смотрел на нее с удивлением, проникался уважением, чувством совсем другим, чем прежде, чем-то вроде настоящей любви к этой ловкой девке.

Когда кровь перестала идти, он предложил ей пройтись, боясь ее жестоких кулаков, если они опять очутятся рядом. Но она сама взяла его под руку, как это делается на свиданиях в городе, и сказала ему:

— Это нехорошо, Жак, что ты так презираешь меня.

Он возразил. Нет, он ее не презирает, но он влюблен в нее, вот и все.

— Значит, ты хочешь на мне жениться?— сказала она.

Он загнулся, потом начал смотреть на нее сбоку, а ее глаза были устремлены вдаль, прямо перед ней. У нее были полные, красные щеки, широкая, выпирающая под ситием кофты грудь, толстые свежие губы, и ее шея, почти голая, была усеяна капельками пота. Он почувствовал, как желание охватывает его, и пригнувшись ртом к ее уху, он прошептал:

— Да, очень хочу.

Тогда она вскинула свои руки ему на шею и обняла его таким долгим объятием, что оба задохнулись.

С этой минуты началась между ними вечная история любви. Они стали возиться по углам: назначали друг другу свидания при лунном свете, под стогом сена, до синяков отдавливали друг другу ноги под столом своими тяжелыми сапогами на подковах.

Потом, мало-по-малу, Жак стал скучать с ней, он избегал ее, не говорил с ней больше, не искал с ней встреч наедине. Тогда ее охватили сомнения и глубокая печаль; а через некоторое время она заметила, что беременна.

Она была смущена сначала, потом гнев вошел в нее и становился сильнее с каждым днем, потому что больше ей не приходилось видаться с Жаком: так тщательно он избегал ее.

Наконец, однажды ночью, когда вся ферма спала, она вышла без шума, в одной юбке, с голыми ногами, перешла двор и толкнула дверь в конюшню, где Жак спал в большом ящике с соломой над своими лошадьми. Он стал нарочно храпеть, услышав ее шаги; но она влезла к нему и, став рядом на колени, трясла его до тех пор, пока он не поднялся.

Когда он сел, спрашивая: «Чего ты хочешь?» она со стиснутыми зубами, дрожа от ярости, произнесла:—«Я хочу, я хочу, чтоб ты женился на мне, потому что ты мне это обещал». Он рассмеялся и ответил:—«Вот что! Ну, на всех девках, с которыми грешил, не переженишься».

Но она схватила его за горло, опрокинула так, чтоб он не мог избавиться от ее жестоких тисков, и стала душить, крича ему в самое лицо:—Я беременна, ты слышишь, я беременна!

Он тяжело дышал, задыхаясь; и так они оставались вдвоем, не двигаясь, замолкнув, в черной тишине ночи, нарушаемой только лошадю, вытаскивающей солому из яслей и медленно ее потом жующей своими челюстями.

Когда Жак понял, что она сильнее его, он пробормотал:

— Ладно, я женюсь, если так.

Но она больше не верила его обещаниям.

— Сейчас же, — сказала она, — сделай оглашение.

Он ответил:

— Сейчас же.

— Клянись в этом именем Бога.

Он колебался несколько минут, потом решился:

— Клянусь в этом именем Бога.

Тогда она разжала пальцы и, не прибавив больше ни слова, вышла.

Несколько дней она была лишена возможности говорить с ним, и, так как конюшня отныне заперлась по ночам на ключ, она не смела делать шума из боязни скандала.

Затем, однажды утром, есть похлебку пришел другой. Она спросила:

— Жак уехал?

— Да, — сказал вновь прибывший, — я поступил на его место.

Она задрожала так сильно, что не могла снять с крюка котел; потом, когда все ушли на работу, она поднялась в свою комнату и плакала, лицом в подушку, чтоб не было слышно.

Днем она пыталась узнать что-нибудь, не возбуждая подозрений: но мысль о ее несчастье так осаждала ее, что все люди, которых она спрашивала, казалось ей, лукаво смеялись. Ей уда-

лось только узнать, что Жак совсем покинул эти места.

II.

Тогда началась для нее жизнь, полная непрерывных мучений. Она работала, как машина, не думая о том, что делает, с одной и той же мыслью: «Если об этом узнают!»

Эта неотступная мысль настолько не давала ей возможности думать о чем-нибудь другом, что она даже не искала способов избежать этого скандала, который, как она чувствовала, приближался с каждым днем, непоправимый и неизбежный, как смерть.

Она поднималась по утрам раньше всех и со злым упорством разглядывала свою талию в маленьком осколке зеркала, которым она пользовалась, когда чесала волосы, беспокойно пытаясь узнать, не сегодня ли заметят ее позор.

И днем каждую минуту прерывала она свою работу, смотря на себя сверху вниз, не слишком ли ее живот поднимает передник.

Месяцы шли. Она почти не говорила, и когда ее спрашивали о чем-нибудь, не понимала, пугалась, взор ее блуждал, руки дрожали; это заставляло говорить ее хозяина:

— Бедная, как ты поглупела за это время!

В церкви она пряталась за колонной и не смела больше ходить на исповедь, боясь больше

всего встречи со священником, которому она приписывала сверхчеловеческую власть и силу читать в совести людей.

За столом взгляды рабочих заставляли ее изнемогать от тоски, и ей все время казалось, что вот, вот ее изобличит пастух, не по летам зрелый и угрюмый мальчишка, острый взгляд которого не покидал ее.

Однажды утром, почтальон принес ей письмо. Она никогда не получала писем, и так была смущена этим, что должна была сесть. Это от него, быть может? Но, не умея читать, она только беспоконлась и дрожала над этим исписанным листком. Она спрятала его в карман, никому не смея доверить своей тайны; и часто, прервав работу, подолгу смотрела на эти ровные строчки, кончающиеся подписью, смутно надеясь, что она вдруг раскроет их смысл. Наконец, сходя с ума от нетерпения и беспокойства, она пошла к школьному учителю. Он заставил ее сесть и прочел:

«Дорогая моя дочь, настоящим письмом извещаю тебя, что мне очень плохо; тебе пишет наш сосед, Дэнтю; приезжай, если можешь.

За твою любящую тебя мать

Цезарь Дэнтю».

Она не сказала ни слова и ушла; но как только она осталась одна, у нее подкосились ноги, и она села на краю дороги; и оставалась так до ночи.

Вернувшись домой, она рассказала о своем несчастье фермеру, и он отпустил ее, не стесняя сроком и обещая поручить ее работу другой девушке, а ее принять обратно по возвращении.

Мать ее была в агонии; она умерла в день ее прибытия; а на другой день Роза родила семи-месячного ребенка, маленького и худого, как скелет; его корчило, и казалось, он все время страдает, так жалобно сжимал он свои ручки, сухие, как лапы краба.

Всетаки он остался жить.

Роза сказала, что она замужем, но не может взять с собой ребенка, и оставила его у соседей, которые обещали о нем заботиться.

Но тогда, в ее сердце, с давних пор уже мертвом, поднялась, как утренняя заря, непонятная любовь к этому маленькому, несчастному, покинутому ею, существу, и эта любовь стала новым страданием, страданием каждого ее часа, каждой минуты, пока она была в разлуке с ребенком.

То, что ее особенно терзало, это безумная потребность обнимать его, тискать руками, чувствовать своим телом теплоту его тельца. Она больше не могла спать по ночам; она думала о нем весь день; и по вечерам, когда ее работа кончалась, она садилась перед огнем и смотрела в него пристально, как люди, думающие о далеком.

Уж начали болтать на ее счет, шутили над ее

возлюбленным, который будто бы у нее был, расспрашивая, красив ли он, силен ли, когда свадьба, когда крестины? И она часто убегала, чтоб поплакать одной, потому что эти вопросы проникали в нее, как иголки в кожу.

Чтоб рассеяться от этих сплетен, она яростно бросалась на работу и, всегда мечтая о своем ребенке, изыскивала средства собрать для него побольше денег.

Она решила работать изо всех сил, чтоб заставить прибавить себе жалованье.

И вот, понемногу она забрала в свои руки всю работу, заставила отпустить служанку, ставшую бесполезной с тех пор, как она начала работать за двоих, сэкономила на хлебе, масле и свечах, на зерне, которое давалось курам очень щедро, на корме животным, который слишком щедро расточался. Она казалась скупой на деньги хозяина, как будто это были ее деньги, и закупая выгодно, а продавая то, что выходило из дому, дорого, разгадывая хитрости крестьян, предлагающих свои продукты, она одна заботилась о покупках и продажах, управляла всеми работами, бела счет провизин; и в короткое время стала незаменимой. Она так зорко наблюдала за всем, что ферма под ее руководством стала процветать. За две версты вокруг говорили о «служанке Ватэна»; и фермер всюду повторял: «Эта девушка дороже золота».

Но, однако, время шло, а жалованье ее оставалось тем же. Ее усиленную работу принимали, как нечто должное и требуемое от всякой нанятой служанки, просто как знак ее доброй воли; и она с горечью начинала думать о том, что в то время как фермер приобретает, благодаря ей, на пятьдесят или сто экю в месяц больше прежнего, она продолжает получать те же 240 франков в год, ни больше, ни меньше.

Она решила требовать прибавки. Три раза шла она к хозяину за этим, но, придя, говорила о другом. Ей было стыдно домогаться денег, как будто это было нечто нечестное. Наконец, однажды, когда фермер завтракал один на кухне, она с трудом сказала ему, что желала бы поговорить с ним частным образом. Он поднял голову, удивленный, держа над столом в одной руке ножик, а в другой кусок хлеба, и посмотрел пристально на работницу. Она смутилась под его взглядом и попросила отпустить ее на неделю, потому что она немного нездорова.

Он согласился тотчас; а потом, смущенный сам, прибавил:

— Мне тоже надо поговорить с тобой—когда ты вернешься.

III.

Ребенку было уже восемь месяцев: она не узнала его. Он стал совсем розовым, толстоше-

ким; весь кругленький, он был похож на кусок живого жира. Его растопыренные пальцы слабо шевелились, повидимому, от удовольствия. Она бросилась на него, как на добычу, с горячностью животного, и обняла его так крепко, что он заплакал от страха. Тогда она сама стала плакать, потому что он не узнавал ее и тянулся к своей кормилнице, как только замечал ее.

Но на другой день он уже привык и, увидев ее, засмеялся. Она уносила его в поле, бегала с ним, держа его в руках, как утормелая, садилась в тень деревьев; потом, впервые в своей жизни, раскрывая свое сердце, хоть он и не мог понимать, говорила с ним о своих печалих, о своей работе, заботах и надеждах, и мучила его беспрестанно порывами своих неистовых ласк.

Ей доставляло бесконечную радость держать его на руках, мыть, одевать; она была счастлива убирать за ним, как будто эти интимные заботы были подтверждением ее материнства. Она рассматривала его, все удивляясь, что он с ней, и повторяла вполголоса, подбрасывая его на руках: «Мой малыш, мой малыш».

Она рыдала всю дорогу, возвращаясь на ферму, и как только пришла, хозяин позвал ее к себе в комнату. Она вошла, удивленная и очень растроганная, не зная для чего он ее позвал.

— Садись, — сказал хозяин.

Она села, и несколько минут они оставались

друг с другом рядом, оба в затруднении, сложив неподвижно руки, не глядя в лицо, по-деревенски.

Фермер, сорокалетний толстый человек веселого и упрямого нрава, вдовевший второй раз, испытывал, очевидно, необычное для себя затруднение. Наконец, он решился и начал говорить неопределенно, немного заикаясь и смотря далеко в поле.

— Роза,—сказал он,—ты никогда не думала обзавестись своим домом?

Она побледнела, как мертвая. Видя, что она ему не отвечает, он продолжал:

— Ты славная девушка, честная, деятельная и экономная. Такая жена, как ты, была бы счастьем для мужчины.

Она оставалась неподвижной, ее глаза выражали испуг, она не пыталась даже понять, что ей говорят, настолько перепутались ее мысли, в предчувствии какой-то опасности. Он подождал минуту и продолжал:

— Ты видишь, ферма не может быть без хозяйки, даже с такой работницей, как ты.

После этого он замолчал, не зная, что говорить дальше; а Роза смотрела на него в ужасе, с видом человека, стоящего лицом к лицу перед убийцей, готовая бежать при малейшем его жесте.

Наконец, минут через пять, он спросил:

— Ну, так по рукам?

Она спросила с глупым видом:

— Что, хозяин?

Тогда он резко сказал:

— Ей-Богу, выходи за меня!

Она сразу встала, и тотчас опять упала на стул, как подломленная, и так оставалась долго: неподвижная, похожая на человека, с которым только что случилось большое несчастье. Фермер, наконец, вышел из терпения:

— Ну чего же тебе еще надо?

Она смотрела на него, обезумев; потом слезы внезапно хлынули из ее глаз, и, задыхаясь, она два раза вымолвила:

— Не могу я, не могу я!

— Почему же?—спросил он.—Смотри, не сделай глупости; даю тебе срок подумать до завтра.

И поспешил выйти, радуясь, что кончил это трудное для него дело, и не сомневаясь, что на другой день работница примет его предложение, которое было для нее очень лестным, а для него являлось превосходной сделкой, потому что таким образом он навсегда приобретал женщину, которая наверно принесет ему больше, чем самая богатая невеста в округе.

Впрочем между ними не могло быть мыслей о неравном браке, ибо в деревне все приблизительно равны: фермер работает, как его батрак, который, в свою очередь, в один прекрасный день может сам стать хозяином, а работницы—

хозяйками, и это несколько не меняет их жизни и привычек.

Роза в эту ночь не спала. Она просидела на своей постели, не имея больше сил плакать, чувствуя себя уничтоженной. Она оставалась неподвижной, не ощущая своего тела; мысли ее не могли ни на чем остановиться; ее как будто кто-то искрошил одним из тех инструментов, которыми пользуются для расчески шерсти в матрацах.

Только минутами в ней соединялись обрывки размысленный, и она приходила в ужас от одной мысли о том, что может случиться.

Ее страхи росли, и каждый раз, как в сонном молчании дома медленно били тяжелые кухонные часы, у нее от тоски выступал пот. Она теряла голову, кошмары давили ее. Свечка гасла. Ее охватило безумие, налетающее на деревенских людей, когда они видят себя пораженными судьбой,—она почувствовала безумную потребность убежать, ускользнуть, уйти от несчастья, как уходит корабль от бури.

Крикнула ночная сова; девушка задрожала, встала, схватилась руками за лицо и волосы, ощущала свое тело, как сумасшедшая; потом, как лунатичка вышла. На дворе она поползла, чтоб не увидел ее кто-нибудь, потому что луна на заходе светила ярко, бросая свет в поля. Вместо того, чтобы открыть калитку, Роза перелезла че-

рез вал; и когда поля открыли ей свое лицо, она пошла. Она шла прямо перед собой, легким, быстрым шагом, и временами, сама того не сознавая, пронзительно вскрикивала. Ее безмерная тень, ложась на землю рядом, двигалась вместе с нею; над головой ее не раз кружила ночная птица. Псы лаяли на фермах, слыша, что кто-то идет; один из них перепрыгнул через вал и побежал за ней, чтоб искусать; но она обернулась и так завывала, что собака в ужасе убежала, спряталась в свою конуру и смолкла.

Молодой заячий выводок играл на поле; но приблизилась безумная путница, подобная обезумевшей Диане, и пугливые звери исчезли; дети и мать забились в борозду, отец утек ал со всех ног, и, пробегая, заслонял своей быстрой, с прямыми ушами, тенью, заходящую луну, которая плавала теперь по краю земли и светила на поля косым своим светом, как огромный светильник, поставленный у горизонта.

Звезды таяли в глубинах неба; уже начинали щебетать птицы; рождался день. Девушка обессилив, тяжело дышала, и когда солнце пронзило алую зарю, она остановилась.

Ее заплывшие ноги отказывались идти; но она увидела лужу, большую лужу, стоячая вода которой, отражая красный свет нового дня, казалась кровью, и пошла, по направлению к ней.

хромая, тихим шагом, с дрожью в ногах, положив руку на сердце.

Она села на траву, сняла тяжелые сапоги, полные пыли, сняла чулки и погрузила посиневшие ноги в неподвижную воду, где по временам лопались пузыри газа.

Приятная свежесть поднялась от пяток к шее; и вдруг, пока она смотрела пристально в эту глубокую воду, у нее закружилась голова, и ей безумно захотелось всей погрузиться в нее. Она перестала бы там страдать, навсегда перестала. Она не думала больше о своем ребенке; она хотела тишины, полного отдыха, бесконечного сна. И вот, она встала, подняла руки и ступила два шага вперед. Она погрузилась по бедра и торопливо шла дальше, как вдруг два острых укола в ногу заставили ее выпрыгнуть назад и закричать в отчаянии: ее ноги сверху до низу были покрыты черными пиявками, которые пили ее жизнь, раздувались на ней, присосавшись к ее телу. Она боялась дотронуться до них и выла от страха. Ее отчаянные крики привлекли крестьянина, который тащился вдали со своей телегой. Он оторвал пиявок одну за другой, приложил к ранам травы и довез девушку до фермы ее хозяина.

Пятнадцать дней была она в постели, потом в то утро, как она встала и села перед дверью, перед ней неожиданно оказался хозяин.

— Ну, сказал он, дело решено, не правда ли?

Она сначала не ответила, потом, так как он продолжал стоять, понижывая ее своим упрямым взглядом, произнесла с трудом:

— Нет, хозяин, я не могу.

Но он сразу рассердился.

— Ты не можешь? Отчего ты не можешь?

Она заплакала, повторяя:

— Я не могу.

Он отнял ее руки от лица и закричал:

— Значит у тебя есть любовник?

Она пробормотала, дрожа от стыда:

— Может быть и так.

Хозяин, красный как мак, заикаясь от гнева, воскликнул:

— Ага! Ты признаешься, подлая! И что же он за птица? Голодный нищий? Бездомный бродяга,дохнувший от голода? Кто он такой, говори!

И так как она не отвечала ничего:

— Ага, не хочешь... Так я сам скажу: это Жан Бодю.

Она пробормотала, дрожа от стыда:

— Ах, нет, не он.

— Ну Пьер Мартэн?

— Ах, нет, хозяин.

И он перечислил всех окрестных работников, но она все отрицала, смущенная, каждую минуту вытирая глаза концом своего голубого передника. Но он все искал со своим грубым упорством, тер-

зая ее сердце, чтоб узнать тайну, как охотничья собака, роющая пору, чтоб найти зверя, которого она чувствует в глуби ее. Вдруг он воскликнул:

— Э! конечно, это Жак, прошлогодний работник; говорят, что вы обещали друг другу пожениться.

Роза вспыхнула; волна крови окрасила ее лицо; ее слезы сразу иссякли; они высохли на щеках, как капли воды на красном пламени. Она закричала:

— Нет, не он, не он.

— Так ли?—спрашивал обозленный фермер, чуя правду.

Она стремительно ответила:

— Клянусь вам в этом, клянусь вам..

Она искала, чем поклясться, не смея коснуться святынь. Он ее прервал:

— Он за тобой шатался по улицам и не спускал с тебя глаз за обедом. Ты дала ему слово, ну, говори?

На этот раз она посмотрела прямо в лицо хозяину.

— Нет, нет, не лавала, клянусь вам Богом, что если бы он пришел сейчас меня просить, я не пошла бы за него.

У нее был такой искренний вид, что фермер поколебался. Он ответил, как бы сам себе:

— Но что же тогда? Ведь с тобой не было греха, об этом знали бы. Да ни одна девушка не

стала бы отказывать из-за этого своему хозяину, когда не было последствий. Тут должно быть есть что-то.

Она не отвечала больше ничего, подавленная отчаяньем.

Он еще раз спросил:

— Ты не хочешь?

Она вздохнула:

— Я не могу, хозяин.

Он повернулся и ушел.

Она думала, что отделалась от него, и провела остаток дня почти спокойно, но так была подломлена и изнурена, как будто ее с утра заставили ворожать молотилку вместо старой сивой лошади.

Она легла как можно раньше и тотчас заснула.

В полночь ее разбудили две руки, которые нащупывали ее постель. Она задрожала от страха, но тотчас узнала голос фермера, говоривший ей: «Не бойся, Роза, это я пришел говорить с тобой». Она сначала удивилась; потом, когда он попытался проникнуть под одеяло, она поняла, чего он хочет, и задрожала вся, чувствуя себя одинокой в темноте, еще отягощенной сном, и совсем голой, и в постели, около этого человека, который ее хотел. Она, конечно, не соглашалась, но сопротивлялась слабо, сама борясь с инстинктом, всегда сильным в простых натурах, и

мало находя поддержки в нерешительной воле своей бездеятельной и слабой породы. Она поворачивала голову то к стене, то в комнату, избегая нежностей, которыми губы фермера преследовали ее губы, и ее тело слегка горело под одеялом, возбужденное борьбой. Он становился грубым, пьянея от желания. Он раскрыл ее резким движением. Тогда она ясно поняла, что не может сопротивляться. Повинуясь чувству стыда, она закрыла лицо руками и перестала защищаться.

Фермер оставался с нею всю ночь. На следующий вечер он опять пришел, и так каждый день.

Они стали жить вместе.

Однажды утром он сказал:

— Я сделаю оглашение; на следующий месяц будет свадьба.

Она не ответила ничего. Что могла она сказать? Она не предпринимала ничего. Что она могла сделать?

IV.

Он женился на ней. Она чувствовала себя опущенной в яму с неприступными стенками, откуда ей никогда не выйти, и ей казалось, что всяческие несчастья, как огромные скалы, висят над ее головой, готовые рухнуть при первом случае. Муж производил на нее впечатление чело-

века
жд
она
несч

С
жлы

Н
серд
жизн
в се

П
Она
фер

пит
как
рас
сто
печ
реч
б
пот
поч

об
ши
сво

с

века, которого она обворовала, и который каждый день может это заметить. И, кроме этого, она думала о своем ребенке, источнике всех ее несчастий и всего ее возможного на земле счастья.

Она ездила к нему два раза в год, и с каждым разом возвращалась все печальнее.

Но привычка брала свое, ее страхи утихали, сердце успокаивалось, она стала доверчивее к жизни, и только смутная тревога блуждала еще в ее душе.

Годы шли; ребенку исполнилось шесть лет. Она теперь была почти счастлива, как вдруг нрав фермера омрачился.

Вот уже два или три года, как он, казалось, питает какое-то беспокойство, носит в себе какую-то заботу, странную болезнь рассудка, возрастающую понемногу. Он подолгу оставался за столом после обеда, опустив голову на руки, и печальный, печальный, сокрушаемый тоской. Его речь становилась более отрывистой, иногда грубой; и казалось, что он имеет что-то против жены, потому что он стал отвечать ей иногда резко, почти гневно.

Однажды, когда она, обремененная работой, обошлась грубо с мальчиком соседки, пришедшим за яйцами, он внезапно появился и сказал своим злым голосом:

— Еслиб это был твой, ты не обращалась бы с ним так.

Захваченная врасплох, она не могла ничего ответить, и тогда потом она пришла в себя, все ее страхи пробудились снова.

За обедом фермер не сказал ей ни слова, не смотрел на нее; казалось, он гнушался ею и презирал ее, потому что, наконец, узнал что-то.

Теряя голову, она не посмела оставаться с ним после обеда и побежала в церковь.

Ночь опускалась; узкий храм весь был темный, но в тишине звучали шаги, там, у клироса; это пономарь готовил на ночь лампаду у дарохранительницы. Эта искра дрожащего огня, утопающая во мраке, казалась Розе последней надеждой, и, устремив глаза на нее, она опустилась на колени.

Тихая лампада поднялась в воздухе под звяканье цепочки. Тотчас раздался мерный стук сапог по каменному полу, за ним шелест веревки, которую тянут, и жидкий колокол ударил к вечерней «Богородице», звуча сквозь нарастающий туман. Когда пономарь стал уходить, она догнала его.

— Батюшка дома? — сказала она.

Он ответил:

— Я думаю. Он всегда обедает в это время.

И она, дрожа, ступила за изгородь к священнику.

Он был за столом и тотчас попросил ее сесть.

— Да, да, я знаю, ваш муж говорил уже мне о том, что вас ко мне привело.

Бедная женщина ослабела. Священник спросил:

— Чего же вы хотите, дитя мое?

И он стал быстро глотать полные ложки супа, капли с которых падали на грязную и вздымавшуюся на животе сутану.

Роза не смела ни говорить, ни просить, ни умолять; она поднялась; священник сказал:

— Мужайтесь...

И она ушла.

Она вернулась на ферму, не зная, что будет делать. Хозяин ожидал ее, работники в ее отсутствие ушли. Тогда она тяжело упала к его ногам и застонала, проливая ручьи слез.

— Что ты имеешь против меня?

Он начал кричать и клясться:

— То, что у меня нет детей, ей-Богу! Жену берут не для того, чтоб оставаться вдвоем без конца. Вот что я имею против тебя. Если у коровы нет телят, грош ей цена. Если у женщины нет детей, ей тоже грош цена.

Она плакала и повторяла, заикаясь:

— Это не моя вина, нет, это не моя вина!

Тогда он смягчился и прибавил:

— Я не упрекаю тебя, но все-таки это странно

— V. —

С этого дня у нее была только одна мысль: иметь ребенка, другого ребенка; и она говорила об этом со всеми.

Соседка указала ей одно средство: надо по вечерам давать мужу стакан воды со щепоткой золы. Фермер попробовал, но средство не помогло.

Они сказали друг другу: «Может быть есть тайные средства». И пустились на разведки. Им указали одного пастуха, жившего в десяти верстах; и Валэн в один прекрасный день запряг свой экипаж, чтоб ехать к нему за советом. Пастух дал ему хлеб, сделав на нем какие-то знаки, хлеб, замешанный с травами, им обоим надо было есть его ночью по кусочку до и после их ласк.

Хлеб был съеден весь без результатов.

Некий учитель открыл им тайные способы любви, неизвестные в деревнях, и по его словам несомненные. Они осеклись и на этом.

Священник посоветовал совершить паломничество к святыням Фекана. С толною богомольцев Роза пошла в монастырь, пала ниц и, смешивая свою молитву с грубыми просьбами крестьянских сердец, молила Того, Кому все молились, еще раз послать ей зачатие. Напрасно. Тогда она сочла это наказанием за первый свой грех, и безмерная скорбь охватила ее.

Она гасла от горя; муж старел, «сам себе сосал кровь», как говорили; напрасные надежды истощали его.

И между ними загорелась война. Он бранил ее и бил. Днем ворчал, а по ночам в постели его душила ненависть, и он бросал ей в лицо оскорбительные, гнусные слова.

Однажды ночью, не умея больше ничего изобрести, чтоб заставить ее еще страдать, он велел ей встать и ждать рассвета под дождем за дверью. Когда же она не захотела слушаться его, он схватил ее за шею и начал бить кулаком в лицо. Она ни слова не сказала и не шевельнулась. Вне себя, он вскочил ногами ей на живот и бил ее в безумной ярости, сжав зубы. Но тут наступил миг отчаянного сопротивления, диким движением отбросив его к стене, она села на постели и чужим голосом прошипела:

— У меня-то есть ребенок, у меня есть! прижила с Жаком; ты знаешь Жака. Он должен был на мне жениться; ушел.

Хозяин, ошеломленный, остался там, где был, растерявшись, как и сама она; он бормотал:

— Что ты говоришь? Что ты говоришь?

Тогда она разрыдалась и сквозь ручьи слез прерывисто зашептала:

— Оттого-то я и не хотела выходить за тебя, оттого. Я не могла ничего сказать тебе, ты оста-

вил бы меня без хлеба с ребенком. Это у тебя, у тебя нет детей; и ты не знаешь, ты не знаешь!

Он повторял как машина, удивляясь все сильнее:

— У тебя есть ребенок? Ребенок!

Она промолвила среди рыданий:

— Ты меня взял насильно; ты должен это знать, я не хотела за тебя идти.

Он встал, зажег свечку и заходил по комнате, закинув руки за спину. Она все плакала, рухнув на постель. Внезапно он остановился перед ней:— «Значит, это я виноват». Она не ответила. Он заходил опять; потом опять остановился и спросил:— «Который год твоему мальчишке?».

Она шепнула:

— Шестой.

Спросил еще:

— Почему же ты мне не сказала?

Застонала:

— Разве я могла!

Он стоял неподвижно.

— Ну-ка, встань,—сказал он.

Она едва могла подняться. Затем, когда она, опираясь о стену встала на ноги, он вдруг расхохотался громким смехом счастливых прежних дней; в видя, что она недоумевает,—прибавил:

— Ну, возьмем его, твоего мальчишку, если у самих ничего не выходит.

Она была в таком смятении, что если бы были

силы,
руком

его: у

И

плачу

the mo

супу;

Он

стоя

он вс

сиял.

ворит

силы, наверное бы убежала. А фермер, потирая руки, бормотал.

— Хотел приваляна, и вот нашел его, нашел его: у священника просил сиротку.

И все смеясь, поцеловал жену в обе щеки, плачущую и глупую, и закричал, как будто она не могла слышать:

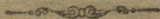
— Пойдем-ка, мать, посмотрим, нет ли там супу; я-бы охотно поел.

Она надела юбку; сошла вниз; и пока она, стоя на коленях, разводила огонь под котелком, он все ходил по кухне крупными шагами и весь сиял торжествуя:

— Нет, правда, это мне приятно; нечего и говорить, я доволен, очень доволен.

Перевод с французского

С. Городецкого.



ПЬЯНИЦА.

I.

Северный ветер гнал по небу огромные, зимние, черные и тяжелые тучи, и они, проходя, падали на землю страшными дивниями.

Море с бешеным ревом бросалось на берег, словно стараясь его сокрушить своими огромными, бешеными валами; они подкатывались медленно и потом обрушивались с громом, подобным пушечным залпам. Совсем тихо, длинными правильными рядами подходили они, высокие, как горы, и белая пена, словно пот чудовищ, разлеталась по ветру.

Ураган бушевал и в небольшой Ипортской долине. То свистящий, то стонущий, он срывал с крыш черепицу, ломал навесы, сбивал дымовые трубы и так свирепствовал в узких улицах, что ходить можно было только придерживаясь за стены и что если бы на улицу попал ребенок, то ветер унес бы его, как осенний лист—через крыши в поле.

Рыбаки втащили свои лодки на самый берег, опасаясь, что море подымется еще выше и смост все с набережной. Несколько матросов лежало

под
беше
Н
взбе
стих
Д
стоя
суну
стян
норм
рода
Глаз
ками
хнщ
О
—
дом
И
мин
же
одна
С
—
буд
наив
плат
Г
пор

под защитой опрокинутых лодок, наблюдая это бешенство неба и воды.

Наступила ночь, кутая в свой черный покров взбешенный океан и весь шабаш разгулявшихся стихий. Матросы понемногу разошлись по домам.

Два человека оставались еще на берегу. Они стояли, подставив ветру свои круглые спины, засунув руки в карманы и нахлобучив шерстяные копаки на самые глаза. Это были два нормандских рыбака с круглыми лохматыми бородами, кожей, продубленной солеными ветрами. Глаза у них—голубые, с узкими черными зрачками, острые глаза моряков, охватывающие, как хищные птицы, горизонт до самого края.

Один из них сказал:

— Уйдем, Иеремия. Пойдем в кафе играть в домино. Я угощаю.

Иеремия медлил; его соблазняла игра в домино и перспектива хорошей выпивки, но в то же время он подумал о жене, которая сидит одна в своей лачуге.

Он спросил:

— Можно подумать, что ты пошел с кем-нибудь в пари, что будешь меня каждый вечер напивать. Скажи, чего ради ты каждый раз за меня платишь?

При мысли о всей водке, которую он до сих пор выпил на чужой счет, он засмеялся. Это был

довольный смех нормандца, который что-нибудь выгадал.

Приятель, которого звали Матюрэн, ткнул его все время за руку.

— Пойдем, Иеремия. В такой вечер непременно нужно согреться, прежде чем пойти домой. Ты боишься? Жена тебе не согреет постели, что ли?

Иеремия отвечал:

— На-днях я никак не мог найти свою дверь... Меня потом пришлось выуживать из канавы, что перед нашим домом!

Он все еще смеялся, вспоминая об этом событии. Потом он медленно пошел в кафе Помеля, освещенное окно которого сияло издали. Он шел, увлекаемый Матюрэном и подталкиваемый ветром, не будучи в состоянии противостоять этим двум силам.

Низкий зал кафе был полон матросов, дыма и крика. Люди, одетые в шерстяные куртки, упираясь локтями в столы, старались перекричать друг друга. По мере того как приходили новые посетители, гам все возрастал. Стук домино о мраморные столики еще больше увеличивал общий шум.

Иеремия и Матюрэн уселись за угловой столик и начали партию, поглощая одну рюмку за другой.

Они сыграли много партий и выпили много рюмок. Матюрэн все время подливал, подмиги-

вая
хозя
фарс
дава
трел
дово
П
раз,
кры
прие
дым
мер
сил
дик
пья
ком
сала
мин
Хоз
С
пил
ска

вая толстому хозлину, с огненно-красным лицом; хозяин смеялся, как бы присутствуя на забавном фарсе. А Иеремия тянул водку, качал головой, издавал звуки, подобные мычанью коровы, и смотрел на своего собутыльника осоловелыми, но довольными глазами.

Посетители разошлись по домам. Каждый раз, когда кто-нибудь из них уходил, через открываемую дверь в кафе врывался ветер; он приводил в движение густые клубы табачного дыма, раскачивал лампы и заставлял их пламя мерцать и колебаться; в этот же момент доносился грохот разбивающейся у берега волны и дикое завывание бури. Иеремия сидел в позе пьяного, развалившись, с расстегнутым воротником; нога была протянута вперед, одна рука свисала, как плеть, а в другой он держал кости домино.

Теперь они были единственными посетителями. Хозяин, заинтересовавшись, подошел к их столу.

Он спросил:

— Ну как, Иеремия, в твоём нутре? Подкрепился ты сколько-нибудь?

Иеремия ответил, заикаясь:

— Чем больше пью, тем суше у меня внутри.

Хозяин хитро посмотрел на Матюрэна и сказал:

— Ну, а где теперь твой брат, Матюрэн?

Моряк усмехнулся:

— Не беспокойся, он теперь в тепле.

Оба стали смотреть на Иеремию, который как раз выложил шесть и шесть и заявил:

— Вот генерал.

Когда они кончили партию, хозяин объявил:

— Знаете, дети мои, я пойду закачусь спать. Я вам оставляю лампу и графин. В нем ровно на двадцать су. Ты, Матюрэн, запрешь, когда будете уходить, дверь снаружи; ключ положи, как в прошлый раз, под навес.

Матюрэн ответил:

— Можешь быть спокоен. Будет исполнено.

Помель пожал своим засидевшимся гостям руки и удалился в верхний этаж. Его тяжелые шаги по деревянной лестнице несколько минут звучали по всему дому. Немного спустя тяжелый скрип кровати возвестил, что он улегся.

Матюрэн и Иеремия остались за своим домино. Порою сильный удар ветра сотрясал дверь и стены, и тогда оба они поднимали головы, словно кто-нибудь вошел в кафе. Матюрэн все подливал Иеремии. Наконец, часы над буфетом пробили полночь. Хриплый бой их походил на лязг кастрюль; звуки старого железа долго еще дрожали в воздухе.

Матюрэн встал с поспешностью матроса, вахта которого кончилась, и сказал:

— Пойдем, Иеремия, пора уходить.

Тот поднялся, с трудом опираясь на стол, до-

брался до двери и вышел на улицу, в то время как его товарищ тушил лампу.

Матюрэн запер снаружи дверь и сказал:

— Спокойной ночи, до свидания!

С этими словами он исчез в темноте.

II.

Иеремия прошел три шага, зашатался, протянул руки, наткнулся на стену, оперся на нее и двинулся, спотыкаясь, дальше. Иногда его подталкивал сильный удар ветра, бушевавшего в узком переулке; а когда ветер стихал на минуту, он останавливался, лишенный своего помощника и потом снова ковылал вперед, еле передвигая свои непослушные ноги.

Он шел домой, руководясь тем же инстинктом, благодаря которому птицы находят путь к своим гнездам. Наконец, он узнал дверь своего дома и принялся по ней шарить, чтобы найти замочную скважину. Но он ее никак не мог найти и поэтому стал про себя ругаться. Потом он принялся стучать в дверь кулаками и звать на помощь жену:

— Мелина! Эй, Мелина!

Когда он налег на створку, дверь открылась, и Иеремия, потеряв опору, влетел в дом и, ударившись носом, растянулся посреди комнаты. В то же мгновение он почувствовал, как что-то тяже-

лое перевалялось через его тело и выскочило на улицу.

Он застыл в ужасе, думая о чорте, привидениях и всяких ночных страхах, и долго лежал, не двигаясь, боясь шелохнуться. Но все было тихо, и к нему вернулся его слабый, пьяный рассудок.

Он тихонько сел. Переждав еще несколько минут, он, наконец, осмелился окликнуть жену:

— Мелина!

Жена не отзывалась.

И вдруг в его помраченном уме шевельнулось неопределенное, смутное подозрение. Он сидел неподвижно на полу в темноте, силился прийти в себя, цеплялся за обрывки мыслей, столь же неуверенных и шатких, как его ноги.

Он спросил:

— Скажи, Мелина, кто это был? Скажи, кто это был? Я тебе ничего не сделаю.

Он ждал ответа, но все было тихо. Тогда он стал громко рассуждать:

— Я и так знаю! Знаю! Это тот, кто меня так напоил; мерзавец! Это он меня напоил, чтобы я не шел домой! Прекрасно знаю!

Потом опять стал просить:

— Скажи, кто это был, Мелина! А то будет беда!

Он переждал и потом продолжал рассуждать с медленной, упрямой логикой пьяного человека:

— Он меня нарочно задержал у этого негодяя

Помеля; и в прошлые вечера тоже—для того, чтобы меня не было дома. Значит, они заодно. Ах, скотина!

Он медленно поднялся на колени. Им овладела тупая злоба, и к ней присоединилось еще действие выпитой водки.

Он спросил еще раз:

— Скажи, кто это был, Мелина, а то я буду драться, предупреждаю тебя!

Теперь он стоял уже на ногах, дрожа от гнева; выпитый им алкоголь вдруг вспыхнул в его жилах; он двинулся вперед, опрокинул стул, схватил его, пошел дальше, достиг кровати и нащупал в ней теплое тело своей жены.

Бешеный от гнева, он закричал.

— Так ты здесь, дрянь, и не отвечаешь!

И подняв своей сильной матросской рукой стул, он ударил им с яростью по кровати. Раздался отчаянный, пронзительный крик. Он начал бить им, как цепом при молотье. И скоро крики замерли. Стул разлетелся вдребезги, но у него в руке еще осталась одна ножка и он продолжал ею бить, задыхаясь.

Вдруг он остановился, чтобы снова спросить:

— Скажешь ты теперь, кто это был?

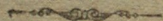
Мелина не отзывалась.

На него нашла бесконечная усталость и одурение. Он присел на пол, растянулся и заснул.

На следующее утро, один из соседей, увидя открытую дверь, вошел в дом. Он увидел Иеремню, лежащего на полу и храпящего, рядом обломки стула, а на кровати кашу из мяса и крови.

Перевод с французского

А. Элиасберга.



про
ша
от
па
мал
яб

вя
ли
пе
да
бе
ри

ни
да
на
ни
ни
ш
о

СТАРИК.

Темное осеннее солнце освещало двор фермы, пронизывая листву высоких буков. Почва, поросшая опщипанной коровами травой, была влажна от недавнего дождя и легко поддавалась под хлопающими шагами. С тяжело нагруженных яблонь падали на темнозеленую траву светозеленые яблоки.

На дворе паслись четыре телки; они были привязаны к веревке и от времени до времени мычали, протягивая морды к дому. На навозной куче перед хлевом возилась пестрая стая кур и с кулдахтаньем рыла навоз, в то время как два петуха без умолку пели, разыскивая червей для своих курят, которых созывали к месту находки.

Отворились ворота, и во двор вошел крестьянин. Ему было лет сорок, но на вид можно было дать шестьдесят; его лицо было покрыто морщинами, он ходил сгорбившись, медленно передвигая ноги в сабо, полных соломы. Слишком длинные руки висели как плети. Как только он подошел к ферме, рыжий пес, привязанный к стволу огромной груши, выскочил из бочки, которая слу

жила ему будкой, завилял хвостом и радостно залаял. Мужик прикрикнул на него.

— Смирно, Фино!

Пес замолчал.

Из дома вышла крестьянка. Ее костлявое тело, широкое и плоское, вырисовывалось под шерстяным лифом, плотно облежавшим стан. Серая короткая юбка доходила только до колен, на ногах были синие чулки и сабо, также полные соломы. Пожелтевший чепец покрывал жидкие волосы; ее худое, темное, некрасивое, беззубое лицо придавало ей тот дикий, тупой вид, который так часто имеют крестьяне.

Мужчина спросил:

— Как дела?

Женщина ответила:

— Священник говорит, что все кончено и что он вряд ли протянет ночь.

Они вошли в дом.

Пройдя через кухню, они очутились в низкой, темной комнате, едва освещенной крохотным окном, занавешенным тряпкой из нормандского ситца. Вдоль потолка тянулись темные от времени закопченные балки, отделявшие комнату тонким дощатым настилом от чердака, по которому днем и ночью бегали стаи крыс.

Неровный, сырой, земляной пол казался пропитанным каким-то жиром; стоявшая в глубине комнаты постель выделялась белым пятном. На

постели умирал старый отец крестьянки, и в комнате с правильными промежутками раздавалось тяжелое хрипение,—звуки, подобные тем, что издает испорченная водочка.

Муж и жена подошли к постели и смотрели на умирающего покорными глазами.

Зять сказал:

— Теперь кончено. Он не проживет до утра.

Крестьянка заметила:

— Он уже с обеда так хрипит.

Они замолкли. Отец лежал с закрытыми глазами, лицо его имело землистый цвет и так высохло, что казалось сделанным из дерева. Из полуоткрытого рта вырывался неровный, хриплый свист; серое холщевое одеяло подымалось на груди при каждом вздохе.

После продолжительного молчания зять сказал:

— Пусть уж кончится. Я ничего не могу сделать. Все это очень досадно; пока погода хорошая, надо успеть пересадить лозы.

Эта мысль беспокоила жену. Она подумала и сказала:

— Если он сейчас помрет, его все равно не похоронят раньше субботы. И завтра ты успеешь пересадить лозы.

Крестьянин долго обдумывал, потом возразил:

— Да, но завтра я должен суду ходить при-

глашать на похороны, а мне нужно пять-шесть часов, чтобы обойти всех от Турвиля до Мането.

Жена опять задумалась и через несколько минут предложила:

— Теперь нет еще трех часов. Ты можешь сейчас же начать обход и обойти всю Турвильскую сторону. Можешь всем говорить, что он уже умер, ведь он все равно не дотянет до вечера.

Это предложение несколько удивило мужа. Он взвесил все последствия и преимущества этого плана и, наконец, заявил:

— Хорошо, я сейчас пойду.

Он собрался в путь и, замедлив немного, сказал:

— Так как тебе все равно нечего делать, то приготовь сейчас четыре дюжины печеных яблок для гостей, что придут на похороны. Ведь нужно же подкрепиться. Затопи печь тростником, что лежит в сарае. Он уже высох.

Он вышел из комнаты, вошел в кухню, отрезал от большого хлеба ломоть, собрал в ладонь все крошки и положил их в рот, чтобы ничего не пропало. Потом достал со дна глиняного горшка ножом немного просоленного масла, намазал его на хлеб и принялся за еду. Ел он так же медленно, как делал и все другое.

Потом он прошел двор, прикрикнул на собаку, которая снова собиралась залаять, вышел на дорогу и пошел по направлению к Турвилю.

* * *

Крестьянка, оставшись одна, тотчас же принялась за работу. Она достала муки и начала месить тесто. Месила она его долго и тщательно, все переворачивала, мяла, давила и растирала. Когда у нее получился желтоватый белый шар, она положила его на край стола.

Потом пошла за яблоками. Чтобы не повредить яблоню палкой для сбивания плодов, она стала на табурет и принялась рвать яблоки прямо с веток. Она тщательно выбирала самые спелые и клала их себе в передник.

С дороги ее кто-то окликнул:

— Эй, м-м Шико!

Она обернулась. Это был сосед Осим Фафе, деревенский мэр. Он ехал с навозом на поле. Ноги его свешивались с телеги. Она спросила:

— Чем могу служить, г-н Осим?

— Что с отцом?

Она отвечала:

— Он почти что кончился. В субботу похороним, в семь часов, потому что мы спешим с пересаживаньем лоз.

Сосед на это сказал:

— Хорошо. Доброго здоровья и всего лучшего!

Она учтиво ответила:

— Спасибо, и вам того же.

Потом опять принялась за яблоки.

Вернувшись в дом, она первым делом подошла посмотреть на отца, думая, что он тем временем умер. Но уже у двери она услышала его монотонное, глухое хрипение. Чтобы не терять времени, она даже не подошла к постели умирающего, а сейчас же принялась за печенье.

Она заворачивала яблоки, одно за другим, в тонкий слой теста и раскладывала их рядами на краю стола. Приготовив, таким образом, сорок восемь штук и разместив их дюжинами один возле другого, она занялась ужином, подвесила над очагом горшок и стала варить картошку. Она решила, что еще нет нужды топить большую печь: впереди целый следующий день, и она успеет еще закончить приготовления к поминкам.

К пяти часам вернулся муж. Первый вопрос его был:

— Умер?

Она ответила:

— Нет еще, все хрипит.

Они подошли к постели. Старик был все в том же состоянии. Его хрипенье, правильное, как стук часов, не ускорилось и не замедлилось. Оно раздавалось все с тою же регулярностью, меняя слегка тон, в зависимости от того, выходил ли воздух из легких, или входил в них.

Зять осмотрел его и сказал:

— Он кончится сам собой, как свеча.

Они возвратились в кухню и молча приступили к ужину. С'ели суп и по ломтю хлеба с маслом, тотчас же вымыли тарелки и вернулись в комнату умирающего.

Женщина подошла к отцу с коптящей лампочкой в руке. Если бы не его дыхание, можно было бы подумать, что он уже умер.

Постель супругов находилась в нише, в другом конце той же комнаты. Они молча легли, потушили свет и закрыли глаза; скоро к хрипу старика присоединились два храпения—одно низкое, другое острое и высокое.

А на чердаке возились крысы

* * *

Муж проснулся, как только начало светать. Тесть все еще жил. Эта живучесть старика ему не понравилась, и он разбудил жену.

— Слушай, Фемня, он все еще не хочет умереть. Как теперь быть?

Он ждал от нее дельного совета.

Она сказала:

— Он наверно не выживет этого дня. Нечего бояться. В таком случае мэр нам верно разрешит похоронить его на другой же день после смерти; ведь так было и при смерти старого Ренара, который помер как раз в то время, когда нужно было засеять поля.

Логичность этих слов его успокоила, и он отправился на поле.

Жена его кончила печенье яблок и занялась своими ежедневными работами по хозяйству.

К обеду старик все еще жил. Работники, которых наняли для пересаживания лоз, столпились вокруг постели, чтобы посмотреть на старика, который так медлил умереть. Каждый высказал свое мнение, и потом они опять ушли на поле.

Когда в шесть часов вернулись с работы, старик все еще жил. Зять пришел в отчаяние:

— Как же теперь быть, Фемня?

Она не знала, что придумать. Тогда они отправились к мэру. Тот обещал закрыть глаза покойнику и разрешить похороны на другой день после смерти. От мэра пошли к окружному фельдшеру, и тот обещал оказать им услугу и поместить свидетельство о смерти задним числом. Они вернулись домой несколько успокоенными.

Легли и заснули так же быстро, как накануне, и храпение их опять сливалось с слабым хрипом старика.

Когда они встали, старик все еще жил.

* * *

Они пришли в умиение. Стоя у изголовья умирающего, они смотрели на него враждебно и недоверчиво, словно он издевался над ними, обманывая их, делая им на зло. Больше же

всего они сердились на него за то, что теряют столько времени.

Зять спросил:

— Как же быть?

Она сама не знала, что делать, и сказала только:

— Даже досада берет!

Приглашенные должны были сейчас прибыть, и их уже никак нельзя было предупредить. Решили ждать их прихода и объяснить им, в чем дело.

Без десяти семь появились первые гости; женщины в черных платьях, с большими вуалями на голове. Их лица выражали грусть. Мужчины, несколько стесненные в движениях своими суконными пиджаками, держали себя развязнее, они шли попарно и разговаривали о делах.

Супруги Шико встречали их с испуганными и смущенными лицами. Они сейчас же подошли к первой группе гостей и принялись плакать, они рассказали им, в чем дело, и описали неловкость своего положения; предлагали гостям стулья, суеились, извинялись, сидели доказывать, что на их месте каждый поступил бы, как они; говорили без умолку и так болтали, что никто другой не мог сказать и слова.

Они обходили гостей и каждому говорили:

— Кто бы мог подумать, что он так долго будет тянуть?

Гости несколько смутились; они чувствовали себя слегка обманутыми, как люди упустившие церемонию, к которой готовились. Они не знали, как им быть, и не сажались. Некоторые из них хотели было уйти, но Шико стал их удерживать:

— Мы все равно сядем к столу. Мы приготовили печеных яблок. Не пропадать же им!

При мысли об угощении все лица просияли. Начались разговоры вполголоса. Двор понемногу наполнился. Прибывшие гости рассказывали ново-приходящим, в чем дело. Шептались, мысль о яблоках соблазняла всех.

Женщины вошли в дом посмотреть на умирающего. Они подходили к кровати, крестились, шептали молитву и уходили. Мужчины были менее падки на это зрелище; они довольствовались тем, что заглядывали в комнату со двора через открытое окно.

М-м Шико давала объяснения:

— Вот уже два дня все одно и то же. Ни взад, ни вперед, все на той же точке. Ведь совсем как испорченная водочка, не правда ли?

* * *

Когда все перебивали у умирающего, приступили к угощению, а так как в кухне оказалось мало места, то стол вынесли на двор. Четыре дюжины золотистых и аппетитных печеных яблок лежали на двух блюдах, привлекая все взгляды.

Каждый спешил поскорее взять свое яблоко, опасаясь, что не хватит на всех. Но оказалось, что остается четыре лишних.

Шико сказал с полным ртом:

— Если бы отец нас теперь видел, он бы очень огорчился: он при жизни так любил яблоки.

Толстый крестьянин с добродушным лицом заметил:

— Теперь он их не станет есть. Каждому своя очередь!

Эти замечания несколько не тронули гостей, они их даже несколько развеселили. Теперь, ведь, их очередь уписывать яблоки!

М-м Шико, очень недовольная расходами, та и дело ходила в кладовую за сидром. Кувшины осушались один за другим. Гости стали смеяться, громко говорить и кричать, точно в кабаке.

Вдруг в окне показалась голова старухи, которая оставалась все время около умирающего: ей очень хотелось посмотреть, как происходит то, что в недалеком будущем предстояло и ей. Она пронзительно закричала:

— Он кончился! Кончился!

Все умолкли. Женщины поспешно встали, чтобы пойти посмотреть.

Он, действительно, умер и больше не хрипел. Мужчины стали переглядываться, опускали смущенно глаза. Яблок еще не доели: очень не в пору умер, мерзавец!

Супруги Шико уже не плакали. Ведь все кончилось, и они успокоились. Они повторяли:

— Ведь было ясно, что он долго не протянет. Конечно, если бы он умер ночью, всех этих недоразумений не было бы.

Но теперь было кончено. В понедельник его похоронят, и тогда опять придется напечь яблок.

Гости стали расходиться. Они обсуждали событие, и были рады тому, что им всетаки удалось закусить.

Когда все ушли, и супруги остались наедине, жена сказала мужу с искаженным от ужаса лицом:

— Придется опять испечь четыре дюжины яблок! Не мог он вчера ночью умереть!

Муж, более спокойный, чем она, возразил:

— Ну, чтож, ведь это не каждый день бывает.

Перевод с французского

А. Элиасберга.



КРОЛИК.

Хозяин Лекашер появился у двери своего дома в обычный час, между пятью и четвертью шестого утра, чтобы присмотреть за своими людьми, принимавшимися за работу.

Весь красный, заспанный, с открытым правым глазом и почти совершенно закрытым левым, он с трудом пристегивал подтяжки на своем толстом животе, осматривая в то же время смысленным и пронырливым взглядом все знакомые уголки своей фермы. Солнце посылало косые лучи сквозь буковые деревья, стоявшие воле канавы, и сквозь круглые яблони на дворе, заставляя петь петухов на навозной куче и ворковать голубей на крыше. Запах скотного двора шел из открытых ворот и смешивался на свежем утреннем воздухе с едким запахом конюшни, где ржали лошади, повернув головы к свету.

Как только штаны были, как следует, пристегнуты, хозяин Лекашер пустился в обход, прежде всего направившись к курятнику, чтобы сосчитать утренние яйца, так как с некоторого времени он подозревал, что их крадут.

Но тут к нему подбежала работница с фермы, махая руками и крича:

— Господин Каше, господин Каше, сегодня ночью у нас украли кролика!

— Кролика?

— Да, господин Каше, большого серого кролика, того из клетки направо.

Фермер открыл вдруг левый глаз и сказал просто:

— Надо посмотреть.

И он пошел посмотреть.

Клетка была сломана, и кролик исчез.

Тогда, сразу приняв озабоченный вид, хозяин закрыл правый глаз и почесал себе нос. После некоторого раздумья, он приказал испуганной служанке, глупо стоявшей перед ним:

— Ступай за жандармами. Скажи им, что я немедленно жду их к себе.

Господин Лекашер был мэром в своей общине, Павиньи-ле-Гра, и, в виду своего положения и своей состоятельности, командовал в ней хозяйски.

Как только служанка исчезла, побежав к деревне, находившейся на расстоянии полкилометра, крестьянин вернулся домой, чтобы выпить свою чашку кофе и поговорить с женой о происшедшем.

Он застал ее на коленях перед очагом, раздувавшей этот огонь.

Еще с порога он сказал:

— Знаешь, у нас украли кролика, большого, серого.

Она повернулась так быстро, что уселась прямо на пол, и с отчаянием посмотрела на мужа:

— Что ты говоришь, Каше? У нас украли кролика?

— Большого, серого.

— Большого, серого?

Она вздохнула.

— Экая беда! Кто же это мог украсть его?

Это была маленькая женщина, худая, чисто-плотная и очень живая, входившая во все дела по хозяйству.

У Лекашера составилось уже свое мнение.

— Это, наверное, негодяй Полит.

Фермерша быстро поднялась с полу и с бешеным восклицанием:

— Это он! Это он! Незачем и припутывать сюда других. Это он! Ты не ошибся, Каше!

На худом, возбужденном лице ее, в морщинах ее щек и лба, в подергиваниях рта, отразился гнев крестьянки, вся ее жадность, все глубокое негодование ее, негодование бережливой хозяйки против работниц и слуг, всегда подозреваемых, никогда не внушающих к себе доверия.

— И что же ты сделал?—спросила она.

— Я послал за жандармами.

Полит пробыл всего несколько дней на ферме

в качестве чернорабочего; затем Лекашер рассчитал его за какой-то дерзкий ответ. Когда-то он служил солдатом в Африке, и от своих походов сохранил привычки мародера и гуляки. Чтобы прожить, он брался за всякое ремесло. Был каменщиком, землекопом, пахарем, косцом, разбивал щебенъ, обрезал ветви деревьев, но везде и всегда он оставался бездельником; поэтому его нигде не держали подолгу, и время от времени ему приходилось менять округ, чтобы найти себе еще какую-нибудь работу.

С первых же дней его пребывания на ферме жена Лекашера возненавидела его; и теперь она была уверена, что покража совершена им.

Приблизительно через полчаса прибыли два жандарма. Бригадир Сенатер был очень высок и худощав, жандарм Леннен — толст и приземист.

Лекашер усадил их и рассказал о происшедшем. Затем они пошли осмотреть место, где было совершено преступление, чтобы засвидетельствовать поломку конуры и собрать все улики. Когда они вернулись обратно в кухню, хозяйка принесла вина, наполнила стаканы и спросила, вызывающе поглядывая на них:

— Что же, заберете вы его?

Бригадир, держа саблю меж ног, казался озабоченным. Конечно, он готов был забрать «его», лишь бы только ему указали кого именно. В противном случае он не может поручиться, что

ему са
сле до
просто

— Лук
стые гу

— 2
не вид
же заст
стью и
чтобы
кто это
что это

По
истории
бстали,
про не
массу и

Бри
осушая
видом
ся к жа
— Н

Северэн
Жан
нул гол
Тогд
и очень

ему самому удастся обнаружить виновного. После долгого раздумья он поставил следующий простой вопрос:

— А вы знаете вора?

Лукавая нормандская усмешка скривила толстые губы Лекашера, который ответил:

— Знать-то его, я не знаю, нет, потому что я не видел, как он крал. Если бы я увидел, я тут же заставил бы его с'есть кролика сырым с шерстью и с костями, не дав ему ни глотка сидра, чтобы запить. Насчет того, чтобы сказать, кто это, я сейчас ничего не скажу, хотя и думаю, что это сделал негодий Полит.

После этого он пространно изложил всю свою историю с Политом, как ушел от него этот рабочий, о его подозрительном виде, о ходивших про него слухах; он рассказывал, нагромождая массу несущественных, мелких улик.

Бригадир слушал его с большим вниманием, осушая свой стакан с вином и с равнодушным видом наполняя его опять; наконец, он обратился к жандарму:

— Нужно будет отправиться к жене пастуха Северэна,—сказал он.

Жандарм улыбнулся и в ответ три раза кивнул головой.

Тогда к ним приблизилась госпожа Лекашер и очень осторожно, с чисто крестьянской хитро-

стью, в свою очередь, начала расспрашивать бригадира. Этот пастух Северэн, простой и грубый человек, получил воспитание в овечьем загоне; он вырос, блуждая по косогорам среди своих скачущих и блеющих животных, кроме них ничего на свете не зная; несмотря на это, в глубине души у него сохранился крестьянский инстинкт бережливости. Многие годы из года в год он, несомненно, прятал в дуплах деревьев или в расселинах скал все деньги, которые ему удавалось заработать или тем, что он стерег стада, или тем, что лечил заговорами и растираниями всякие повреждения у животных (секрет косто-права передал ему старый пастух, его предшественник). И вот, однажды он купил на аукционе небольшое имение, лачугу и кусок земли, стоимостью в три тысячи франков.

Несколько месяцев после этого стало известно, что он женился. Он взял себе женой служанку кабатчика, известную своим дурным поведением. Парни рассказывали, что эта девица, узнав, что он не беден, начала каждую ночь посещать его шалаш; она овладела им, покорила его и постепенно из ночи в ночь привела к женитьбе.

Затем, пройдя через мэрию и церковь, она поселилась в доме, купленном ее мужем, между тем как он продолжал дни и ночи стеречь по долинам свои стада.

И бригадир прибавил:

— Вот три недели уже, как Полит спит с ней, так как у этого мародера нет больше крова.

Жандарм позволил себе пошутить:

— Он пользуется одеялом пастуха.

Госпожей Лекашер овладел новый приступ гнева, усилившегося еще тем, что к нему присоединилось негодование замужней женщины против беспутства.

— Это она, уверяю вас. Идите туда. Ах, эти проклятые воры!

Но бригадир не двигался с места.

— Одну минуту,—сказал он.—Подождем до полудня, так как он каждый день приходит туда к обеду. Я их накрою, с полицим.

Жандарм улыбался, очарованный идеей своего начальника. И Лекашер также улыбался теперь, потому что происшествие с пастухом казалось ему комичным,—обманутые мужья всегда очень забавны.

Прошло двенадцать, когда бригадир Сенатер в сопровождении своего подчиненного три раза легонько постучал в дверь маленького уединенного домика, расположившегося у опушки леса, в пятистах метрах от деревни.

Желая, чтоб их не увидели изнутри, они прижались к стене и стали ждать. Через одну или две минуты, так как никто не отвечал им, бригадир постучал снова. Жилище казалось необита-

емым, до того в нем было тихо, но жандарм Лениен, отличавшийся тонким слухом, объявил, что внутри двигаются.

Тогда Сенатер рассердился. Он не мог допустить, чтобы хотя одну секунду противились властям, и, застучав рукояткой своей сабли в стену, закричал:

— Отворите, именем закона!

Так как и это приказание ни к чему не привело, он завопил:

— Если вы сейчас же не послушаетесь, я велю выломать дверь. Я — бригадир корпуса жандармов, чорт возьми! Начинай, Лениен.

Не успел Сенатер кончить фразу, как дверь отворилась, и перед ним появилась толстая женщина, очень красная, одутловатая, с отвислыми грудями, с большим животом, широкими бедрами, похожая на откормленную самку. Это была жена пастуха Северэна.

Бригадир вошел.

— Я пришел к вам по поводу небольшой справки, — сказал он.

И он посмотрел вокруг себя. На столе находилась тарелка, кувшин с сидром и недопитый стакан вина; все это свидетельствовало о начале обеда. Два ножа валялись друг возле друга. Жандарм лукаво подмигнул своему начальнику.

— Здесь вкусно пахнет, — сказал последний.

— Можно бы поклясться, что пахнет жареным кроликом,—прибавил Ленин очень весело.

— Не угодно ли вам стаканчик вина?—спросила крестьянка.

— Нет, благодарю. Мне бы хотелось только посмотреть на шкуру того кролика, которого вы едите.

Она сделала вид, будто ничего не понимает; однако она дрожала.

— Какого кролика?

Бригадир сел и начал спокойно вытирать себе лоб.

— Полноте, полноте, хозяйка, вы же не станете уверять нас, что питаетесь злаками? Что ели вы сейчас у себя за обедом?

— Да ничего ровно, клянусь вам. Немножко маслица на хлебе.

— Пустое, хозяйка, немножко маслица на хлебе... вы ошибаетесь. Немножко маслица на кролике, следует сказать. Чорт возьми! А наше масло отлично пахнет, ей-Богу! Это превосходное масло, первого сорта, свадебное масло, изпод жаркого, это несомненно, не семейное масло!

Жандарм умирал от смеха, повторяя:

— Несомненно, это не семейное масло.

Так как бригадир Сенатер был шутником, то и весь корпус жандармов привык балагурить.

Бригадир продолжал:

— Где же это ваше масло?

— Мое масло?

— Да, ваше масло.

— В горшке.

— А где ваш горшок?

— Какой горшок?

— Да горшок с маслом, чорт возьми!

— Вон он!

Она пошла и достала старую чашку, на дне которой виднелся небольшой слой прогорклого и соленого масла.

Бригадир понюхал и отвернулся.

— Это не то масло. Мне нужно масло, которое пахнет жареным кроликом. Ну, Ленин, давай поищем. Посмотри в буфете, сын мой, а я загляну под кровать.

Заперев дверь, он приблизился к кровати и попробовал ее отодвинуть; но кровать, повидавшему не сдвигавшаяся с места в течение больше полувека, плотно прилипла к стене. Тогда бригадир нагнулся, и на нем затрещал мундир. Вслед за этим отлетела одна пуговица.

— Ленин, — позвал он.

— Господин бригадир?

— Иди сюда, сын мой, иди к кровати, я слишком высок, чтобы заглянуть под нее. Я возьму из себя буфет.

Он выпрямился и ждал, стоя, чтобы его подчиненный выполнил приказание.

Лениен, приземистый и круглый, снял свою фуражку, растянулся на животе и, пригнувшись головой к земле, стал пристально вглядываться в черную дыру под кроватью. Потом вдруг он закричал:

— Держу! Держу!

Бригадир Сенатер нагнулся к своему подчиненному:

— Кого ты держишь, кролика?

— Нет, вора!

— Вора! Тащи, тащи его!

Засунув обе руки под кровать, жандарм схватил там что-то и изо всех сил тащил это к себе. Нога, обутая в грубый башмак, показалась, наконец, из-под кровати. Жандарм держал ее правой рукой.

Бригадир схватил ногу.

— Смелей! Смелей! Тащи!

Лениен, стоя теперь на коленях, тащил уже за другую ногу. Однако, тело было нелегкое, так как пойманный дрыгал все время ногами, брыкался, упирался спиной в кровать и хватался руками за перекладины.

— Смелей! Смелей! Тащи!—кричал Сенатер.

Оба они тащили изо всех сил; наконец, деревянные перекладины поддались, и из-под кровати показался человек по самую шею, все еще продолжая цепляться головой за свое убежище.

Наконец, показалось и лицо, разозленное и

испуганное лицо Полита,* руки которого все еще скрывались под кроватью.

— Тащи!—продолжал кричать бригадир.

Тут послышался странный шум. Вслед за плечами показались локти, за локтями—руки, в руках оказалась ручка кастрюли, а на конце ручки сама кастрюля с жареным кроликом внутри.

— Боже ты мой, Боже, Боже, Боже!—вопил бригадир вне себя от радости, между тем как Лешин старался завладеть человеком.

И шкура кролика, тяжелая улика, последнее неопровержимое вещественное доказательство, также была найдена под соломенным тюфяком.

Тогда жандармы торжественно вернулись в деревню со своим пленником и со своими находками.

Это происшествие наделало много шума. Неделя спустя господин Лекашер, придя в мэрию для переговоров со школьным учителем, узнал, что пастух Северэн дожидается его уже целый час.

Пастух сидел на стуле в углу, держа палку между ног. Увидав мэра, он встал, снял шапку и поклонился:

— Здравствуйте, господин Каше.

Затем он умолил, продолжая стоять, боязливо и смущенно.

— Что вам нужно?—спросил фермер.

— Вот что, господин Каше. Правда ли это, что у вас украли кролика на той неделе?

— Ну да, это правда, Северэн.

— А, хорошо! Так значит это правда?

— Да, почтеннейший.

— Кто же украл кролика?

— Полит Анкас, поденщик.

— Хорошо, хорошо! Правда ли то, что его нашли под моей кроватью?

— Кого это, кролика?

— Кролика и затем Подита, одного при другом.

— Да, мой бедный Северэн, это правда.

— Значит, это правда?

— Да. Кто же это вам рассказал всю эту историю?

— Понемножку все решительно. Я и узнал. А затем, а затем, насчет брака вам ведь все известно, так как вы заключаете браки, так как вы мэр.

— Как это насчет брака?

— Да, что касается прав.

— Каких же это прав?

— Да прав мужчины и затем прав женщины.

— Ну да, известно.

— Ну, хорошо. Итак, объясните мне, господин Каше, имеет ли моя жена право спать с Политом?

— Как это, спать с Политом?

— Да, имеет ли она право по закону, и затем, так как она моя жена, спать с Политом?

— Да нет же, нет, она не имеет права.

— А если я их опять поймаю, имею ли я право отдубасить ее, именно, отдубасить ее и его также?

— Ну... ну... ну, конечно.

— Это хорошо. В таком случае, я вам расскажу. Раз ночью, так как у меня были подозрения, я вернулся домой на той неделе и нашел их там, и они вовсе не были спиной друг к другу. Я выгнал Полита на двор; ну, и больше ничего, потому что я не знал моих прав. В этот раз я их сам не видел. Я узнал про это от других. Дело кончено, не будем о нем говорить. Но, если я их снова поймаю... чорт возьми, если я их снова поймаю... Забудут они у меня, как предаваться таким удовольствиям, господин Каше, это так же верно, как то, что меня зовут Северэн.

Перевод с французского

И. Сидович.

ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ.

На дворе неистовствовал буйный осенний ветер, один из тех ветров, что срыгают последние листья и уносят их под облака.

Охотники только-что поужинали, они сидели еще в охотничьих костюмах, красные и возбужденные. Это были нормандские полудворяне, полумужики, богатые, рослые люди, столь сильные, что им ничего не стоило сломать быку рога.

Целый день они охотились на владениях Блонделя, Эпарвилльского мэра; теперь они сидели за большим столом в ферме-замке г. Блонделя.

Их говор звучал как рев, их смех—как крик оленей; вытянув ноги и разложив локти на столе, они пили как цистерны. В их глазах отражался свет ламп; согреваемые огромным камином, от которого по потолку шли красные отблески пламени, они разговаривали об охоте и собаках. Но мало-по-малу они начали переходить на совсем другую тему: они были наполовину пьяны и внимательно следили за движениями крепкой девушки с пухлыми щеками, разносившей своими красными руками огромные блюда.

Большой детина, по имени Сежур, ставший ветеринаром, после того, как много лет готовился в священники, и лечивший теперь всех животных этой местности, закричал:

— Чорт возьми, г. Блондель: у вас не девица, а яблочко и вовсе не червивое!

Раздался взрыв всеобщего хохота. Г. де-Варнето, старый спившийся аристократ, сказал:

— С подобной девчонкой у меня была раз презабавная история. Я ее вам расскажу, слушайте. Каждый раз, как я о ней думаю, я вспоминаю мою сучку Мирзу, которую я когда-то продал графу д'Оссонелю и которая потом каждый день ко мне возвращалась, как только ее выпускали; она никак не могла со мной расстаться. Это мне надоело, и я попросил графа держать ее на цепи. Знаете, что она тогда делала? Издохла с горя.

Но вернуться к тому, о чем хотел рассказать.

Мне было тогда двадцать пять лет, я был холост и жил в моем Вилебонском замке. Вы сами знаете, что когда человек молод, имеет ренту и каждый вечер после ужина скучает, то он иногда начинает смотреть по сторонам.

Скоро я открыл молодую девчонку, которая служила у Дебульто в Ковиле. Вы, Блондель, знали этого Дебульто. Одним словом, эта мерзавка меня так ловко околдовала, что я отправился к ее хозяину и предложил ему сделку; он мне

уступает свою девуку, а я ему в обмен мою черную кобылу Кокоту: он уже два года к ней приценивался. Он сказал: «По рукам, г. де-Варнето». Сделка была заключена: девчонка поступила ко мне в замок, а я сам отвел в Ковиль черную кобылу, которую продал бы не дешевле, чем за триста экю.

В первое время все шло, как по маслу. Никто ничего не подозревал. Только Роза меня слишком любила, что мне не совсем нравилось. Она, как оказалось, вовсе не была простой девкой. В ее жилах текла, повидимому, не простая кровь. Вернее всего, она была дочерью какой-нибудь девицы, с которой побаловался барин.

Одним словом—она меня обожала. Началась всякие такие нежности, и хорошие слова, и собачьи клички—одним словом, я стал над всем этим задумываться.

Я сказал себе: «Нужно это кончить, а то она тебя совсем окрутит». Но меня не так-то легко окрутить. Я не из тех, кого можно околдовать двумя поцелуями. Я держу ухо востро. И вдруг она мне объявляет, что беременна.

Тыфу! Чувство было такое, словно в меня выпустили два ружейных заряда. А она—все целует, и опять целует, и смеется, и пляшет—с ума сходит. В первый день я ничего не говорил, по ночью я стал размышлять: «Вот тебе и раз! Нужно как можно скорее принять меры и все кончить».

Время не ждет!» Понимаете, у меня в Барневиц отец и мать, моя сестра замужем за маркизом д'Испар в Ролебеке—всего два лье от Вилебона. Шутки плохи!

Но как это устроить? Если ее выгнать, то сейчас пойдут толки. А если оставить,—то скоро все всплывет, да я и не мог ее спровести в таком состоянии.

Я поговорил с моим дядей, бароном Кретей, человеком бывалым, который имел на своем веку не мало подобных историй, и спросил его совета. Он ответил мне самым спокойным тоном:

— Ее просто нужно выдать замуж, мой сын.

Я вышел из себя:

— Выдать замуж, дядя? Да за кого?

Он спокойно пожал плечами:

— За кого хочешь. Это твое дело, а не мое. Ели ты не дурак, так уж найдешь кого-нибудь.

Целую неделю я размышлял над этими словами и, в конце концов, решил, что дядя прав.

Тогда я стал ломать себе голову, кого взять. Однажды мировой судья, с которым я обедал, сказал мне:

— Сын вдовы Помель опять наделал глупостей. Он плохо кончит. Весь в матушку. Вдова Помель—это старая сволочь, которой парни давно перестали интересоваться. За экую она про-

даст душу, да еще своего негодяя-сына даст в придачу.

Я отправился к ней и в самых осторожных выражениях раз'яснил ей, в чем дело.

И когда я начал было путаться в своих объяснениях, она вдруг просто спросила:

— Сколько вы дадите девочке?

Старуха была очень хитрая шельма, но и я не был глуп.

Мне принадлежали три крохотных участка земли в окрестностях моих трех Вилебонских ферм. Фермеры всегда жаловались, что туда далеко ходить. Хорошо, я забрал эти три участка, всего около шести акров, а так как фермеры стали протестовать, то я освободил их до конца аренды от оброка птицею. Тогда они уступили. Я прикупил еще кусок земли у моего соседа г-на д'Омонте и построил на нем хату. Все вместе встало в какие-нибудь полторы тысячи франков. Таким образом я соорудил маленькое имение, которое мне почти ничего не стоило. Его-то я и предназначил в приданное девице.

Старуха заартачилась, это слишком мало, но и я не уступал. Так мы и разошлись, ничем не покончив.

На другой день рано утром ко мне пришел сам парень. Я уже забыл, какой он с виду, но, увидев его, успокоился: для мужика он был совсем не плох, хотя и показался мне жуликом.

Он начал издалека, словно пришел покупать корову. Когда мы уже почти поладили, он захотел посмотреть приданое, и я его повел на поля. Мерзавец заставил меня три часа торчать на поле, он мерил вкривь и вкось, брал комья земли в руку и растирал их—словно боялся, что я его надую на товаре. Хата стояла еще без крыши, и он потребовал, чтобы я ее покрыл черепицей, а не соломой, потому что черепицу легче и дешевле содержать в исправности.

Потом он сказал:

— Мебель вы, конечно, тоже дадите.

Я протестовал:

— Нет. Достаточно, что я даю ферму.

Он сострил:

— Извините: ферму и ребенка.

Я даже покраснел. Он продолжал:

— Итак вы дадите кровать, стол, шкаф, три стула и всю посуду; иначе я и разговаривать не хочу.

Я уступил.

Вот мы возвращаемся домой, а он все еще ни слова о самой девице. И вдруг с хитрым видом, хотя и несколько смутившись, спрашивает:

— Ну, а если она умрет, кому это все достанется?

Я ответил:

— Вам, конечно.

Это все,—что волновало его с самого утра!

Он немедленно протянул мне руку, вполне довольный. Мы покончили.

Ох, не мало возни было с Розой! Она валялась у меня в ногах, выла, все говорила: «Вы мне это предлагаете! Вы!» Целую неделю она противилась, как я ее ни уговаривал и не убеждал. Все женщины дуры: если у них в голове любовь, то они уж ничего больше не понимают. Никакими доводами их не проберешь: любовь важнее всего, все для любви.

Наконец, я рассердился и пригрозил, что выброшу ее вон. Тогда она уступила, но поставила условием, что я ей позволю приходить иногда ко мне.

Я сам провожал ее к венцу, сам платил за всю церемонию и накормил обедом всех приглашенных. Одним словом—все как следует. Потом я сказал: «Спокойной ночи, дети мои!» и укатил на шесть месяцев к брату в Турень.

Когда я вернулся, мне рассказывают, что она приходила каждую неделю в замок и все спрашивала обо мне. И через час после моего приезда она опять пришла, да еще с младенцем на руках. Хотите—верьте, хотите—нет, но младенец этот меня растрогал. Кажется: я его даже поцеловал.

Что касается матери—она стала руинной, скелетом, тенью. Исхудала, постарела. Чорт возь-

ми — браво! сй же пошел в прок! Я спросил ее совсем маиниально:

— Счастлива ты?

Она залилась слезами, как водокачка, завывала, завопила:

— Я не уйду... не уйду от вас... Скорей умру, а не уйду...

Словом, подняла дьявольский шум. Я кое-как утешил ее и проводил до ворот...

Потом я узнал, что муж ее бьет и что свекровь, эта старая дрянь, ее всячески изводит.

Через два дня она опять пришла. Она и обвиняла меня, и в ногах валялась.

— Убейте меня, убейте... Туда я ни за что не вернусь!

Точь-в-точь как и Мирза сказала бы, если бы умела говорить!

Вся эта история мне порядком надоела, и я уехал опять на шесть месяцев. Когда я вернулся... когда я вернулся, я узнал, что она умерла за три недели до моего приезда, и что перед тем она каждое воскресенье приходила в замок... совсем как Мирза. Ребенок умер неделю спустя.

А мерзавец муж получил все в наследство. Ему потом, повидимому, повезло, теперь он муниципальный советник.

Г. де-Варнето закончил, смеясь, свою повесть:

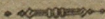
— А все-таки мне он обязан своей карьерой!

Ветеринар Сежур, поднося ко рту стакан вод-
ки, глубокомысленно заметил:

— Все, что вам угодно, но такие женщины
совсем излишни!

Перевод с французского

А. Элиасберга.



ПОКУПКА.

Подсудимые Брюман (Цезарь-Исидор) и Корню (Проспер-Наполеон) предстали перед судом присяжных департамента *) Нижней Сены по обвинению в покушении на убийство некоей Брюман, законной жены первого из поименованных, которую они хотели утопить.

Обвиняемые сидят рядом на скамье подсудимых. Оба крестьяне. Первый, небольшого роста, толстый, с короткими руками и ногами, круглой головой, краснощекий, прыщавый; голова у него, без признаков шеи, посажена на туловище, тоже круглое, тоже короткое. Он торгует свиньями, живет в Кошвилль-а-Гутель, в кантоне **) Крикто.

Корню (Проспер-Наполеон) среднего роста худой человек, с несоразмерно длинными руками. Голова у него сидит криво, челюсть неправильная, он сильно косит. На нем синяя блуза, вроде рубахи, которая спускается до колен. Волосы желтые, редкие, словно прилипшие к черепу. Весь вид поношенный, грязный, совсем

*) Департамент — округ, губерния.

**) Кантон — небольшой округ, уезд.

опустившегося человека. Его прозвали «попом» за то, что он в совершенстве подражает церковному пению; и, кроме того, умеет шипеть змеей. Эти таланты привлекают в кафе, которое он содержит в Крикто, большое количество клиентов, предпочитающих «мессу *) Корню» церковному богослужению.

На скамье свидетелей сидит жена Брюман, худая крестьянка, вечно полусонная. Она совершенно неподвижна, скрестила руки на коленях, уставила глаза в одну точку и имеет глупый вид.

Председатель суда продолжает допрос свидетелей:

— Итак, свидетельница Брюман, они пришли в ваш дом и бросили вас в калку с водой. Расскажите нам, как это было. Постарайтесь встать.

Она встает и оказывается длинной, как мачта, на которую вздет чепец в виде белой скуфейки. Говорит протяжно:

— Я любила бобы. Вот они и приходят. Я еще подумала: «что с ними? они не такие, как всегда, чего-то подсмеиваются». Они этак косо подсматривали за мной, особенно Корню, потому что он ведь косой. Я не люблю, когда они вместе, потому что оба они неважная компания. Я и говорю им: «Что вам от меня нужно?» Они молчат. Я уже предчувствовала что-то недоброе..

*) Месса — церковная служба, обедня.

Подсудимый Брюман с живостью прерывает свидетельницу:

— Я был выпивши...

Корню, обращаясь к своему соучастнику, произносит низким, как органная басовая нота, голосом:

— Скажи лучше, оба были выпивши, и не со-
врешь...

Председатель (строго). — Вы хотите сказать, что были оба пьяны?

Брюман. — Нечего и спрашивать.

Корню. — С каждым может случиться.

Председатель (к потерпевшей). — Свидетельница Брюман, продолжайте ваше показание.

— Ну, вот, Брюман и говорит мне: «Хочешь заработать сто су?» Конечно, говорю, потому что сто су, ведь, на улице не валяются. Тогда он говорит: «раскрой глаза и делай, что я делаю», и пошел за большой кадкой, что под жолобом на углу; потом он ее опрокинул, потом принес в кухню, потом поставил посередине, и потом говорит: «таскай воду, чтобы было вплоть до краев».

Ну, я пошла за водой с двумя ведрами, принесла, потом еще, и так битый час, ведь кадка-то была как чан, с вашего позволения, г. председатель.

А Брюман и Корню за то время выпили, потом еще выпили, потом еще выпили. Они оба накачались, я им и говорю: «вот вы-то полнехоньки, полнее этой кадки», а Брюман мне говорит: «не беспокойся о нас, делай свое дело, твоя очередь придет, каждому свое». А я и не обратила на это внимания, думаю: ведь, он пьян.

Налила калку вровень с краями и говорю:

— Вот, готово.

Тогда Корню дает мне сто су. Не Брюман, а Корню; Корню мне заплатил. А Брюман говорит:

— Хочешь получить еще сто су?

— Хочу, говорю, ведь я не привыкла к таким подаркам.

Тогда он говорит:

— Раздевайся.

— Раздеваться?

Ну да, раздевайся.

— Что же мне на себе оставить-то?

А он говорит:

— Если хочешь, рубаху можешь оставить, она не помешает.

Сто су все-таки сто су, я и стала раздеваться, но мне не очень это понравилось, при двух бездельниках. Сняла чепец, потом кофту, потом юбку, потом башмаки. Брюман и говорит:

«Можешь, пожалуй, и чулки оставить. Мы ребята добрые».

И Корню говорит: «Мы ребята добрые!»

Вот я и осталась в роде праматери Евы. Тут они поднялись кое-как, на ногах-то они были очень нетверды, уж очень они были пьяны, с вашего позволения, господин председатель.

Я себе думаю: «что они затевают?»

А Брюман говорит: «Берись!»

И Корню говорит: «Берись!»

Тут они меня взяли, Брюман за голову, Корню за ноги, ну вот, как вещь какую-нибудь. Я кричать во все горло.

А Брюман говорит: «Молчи, сволочь!»

А они подняли меня, да и опустили в кадку-то с водою, кровь-то у меня так и застыла, так вся внутренность и задеденела.

А Брюман говорит:

— Больше ничего?

И Корню говорит:

— Больше ничего.

А Брюман говорит:

— Голова торчит, она тоже денег стоит.

Корню говорит:

— Сунь и голову.

Брюман и голову мне стал пихать в воду, совсем утопил меня, вода попала мне в нос, у меня свет в глазах помутился, а он все топит меня, да топит, я и утонула.

Тут верно страх его забрал. Вытащил он меня и говорит:

«Ну, живо, одевайся, кляча».

Я от них бегом, выскочила из дома, бегу к ба-
тюшке, священнику, уж он мне дал юбку-то
своей прислуги, ведь я совсем была в чем мать
родила, и пошел сказал г Шико, стражнику, а
тот побежал в Крикто за жандармами, они меня
и привели домой.

Пришли, а Брюман и Корню дерутся, как два
быка.

Брюман кричит: «Врешь! говорю тебе, не
меньше кубического метра. Способ не годится!»

Корню кричит: «Четыре ведра ровно пол куби-
ческого метра. Нечего тебе говорить, это верно».

Бригадир сейчас их за шивороты. Вот и все.

Она садится. В публике смех. Присяжные пе-
реглядываются в недоумении. Председатель спра-
шивает:

— Подсудимый Корню, вы были подстрека-
телем этой гнусной махинации. Что вы можете
сказать?

Корню в свою очередь встает:

— Г. председатель, мы были выпивши.

Председатель произносит строго:

— Мы это слышали. Дальше!

— Дело вышло так. Приходит Брюман в мое
заведение, так часу в десятом, спрашивает две по
десять и говорит: «Одна для тебя, Корню». Я сел
к нему, выпили, из вежливости, выставил тоже.
Он повторил, и я тоже, да так наповторялись,
порция за порцией, что к полуночи были готовы.

Тогда Брюман стал плакать, меня это растрогало. Я спрашиваю, что с тобой? Он говорит: «мне к четвергу до зареза нужно тысячу франков». Ну, я, понимаете, насупился. А он мне предлагает, очертя голову: «Хочешь, продам тебе жену?»

Я был выпивши, и притом же я вдовец. Понимаете, меня это задело. Жену его я не знал, но баба всетаки баба, не так ли? Я спрашиваю: «что возьмешь за нее?»

Он задумался как будто, или притворился, что задумался. Когда выпьешь, сразу не сообразишь. А потом говорит: «продам на кубические метры».

Меня это не удивило, ведь я тоже был пьян, а кубический метр, по моему ремеслу, мера знакомая. Это составляет тысячу литров, дело подходящее.

Оставалось условиться на счет цены. Все зависит от качества. Я спрашиваю: «почем хочешь за кубический метр?»

Он говорит:—Две тысячи франков.

Я так и подскочил, а потом подумал, что в бабе, пожалуй, будет не больше трехсот литров. Всетаки говорю: «Это мол, очень дорого».

— Меньше никак невозможно. Себе в убыток.

Понимаете, ведь не даром же он торгует свиньями. Всякое дело мастера боится. Но уж коли дело на то пошло, если он торгует салом, так ведь и у меня оно продается. Ха, ха, ха! Я и

говорю: «Кабы вещь-то была новая, я бы не спорил; но ведь она была у тебя в деле, так за это надо скинуть. Дам тебе, пожалуй, полторы тысячи франков за кубик, ни одного су больше. Желаете?»

Он говорит:

— Идет! По рукам!

Ударили по рукам и пошли, взявшись под руки. Надо ведь помогать друг другу, без этого не проживешь.

Только меня взяло сомнение: «Как же ты узнаешь сколько в ней литров?»

Тут он мне и объяснил свой план, правда, без труда, потому был пьян. «Возьму, говорит, калду, налью водою вровень с краями. Опущу жену. Сколько воды выльется через край, мы смеяем, это и пойдет в счет».

Я говорю на это:

— Так-то так. Да ведь вода разольется; как же ты вымеряешь, сколько прольется?

Тогда он меня обругал колбасой, и объяснил, что для этого стоит только снова наполнить калду водой, после того как вынем из нее бабу. Сколько придется доливать воды, столько и литров в бабе. Я думал, выйдет на это десять ведер: это составит кубический метр. Но, однако, эта скотина, хоть и пьян, да не дурак!

Пришли к нему, посмотрел я на его хозяйку. Нельзя сказать, чтоб красива. Сами можете су-

дить, тут она вся, как на ладони. Я себе подумал: «Обдурил меня, да наплевать, дело кончено; хороша ли, дурна ли, все равно, годится», — не так ли, г. председатель? К тому же, вижу, худа, как щенка, я и сообразил: «не выйдет из нее четырехсот литров». Что касается жидкостей, я в них знаю толк.

Как мы ее меряли, она тут рассказывала. Я позволил не снимать чулок и рубахи, себе в убыток.

А потом она бросилась бежать. Я говорю: «Смотри, Брюман, как бы она не удрала!»

Он говорит: «Не бойся, всегда поймает. Домой, ведь, вернется же. Лучше давай мерить, сколько воды убыло».

Смерили. Не вышло и четырех ведер. Ха, ха, ха!

Подсудимый заливается таким смехом, что жандарм начинает колотить его по спине. Успокоившись, подсудимый продолжает:

— Ну, тут Брюман объявляет: «Не идет в счет, этого мало». Я закричал на него, он закричал на меня, я громче, он мне в зубы, я ему сдачи. Так и пошло, и пошло, ведь, оба были пьяные.

Наконец, хлоп! жандармы. — Ну, тут дело известное, руки назад, в тюрьму. Г. председатель, я требую вознаграждения за убытки.

Он садится.

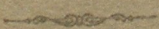
Брюман во всех пунктах подтверждает признание соучастника. Присяжные в полном недоумении уходят совещаться.

Через час они выносят обоим подсудимым оправдательный вердикт, сопровождаемый целым рядом строгих внушений насчет высокой важности таинства брака и точного разграничения допустимых законом коммерческих сделок.

Брюман с супругой отправляются к своему семейному очагу.

Корню возвращается в свое заведение.

*Перевод с французского
Е. Святловского.*



БИБЛИОГРАФИЯ.

Мопассан.

Важнейшая русская литература о Мопассане:

Л. Н. Толстой—при издании „Сочинений“ Мопассана, избранных Л. Н. Толстым (М. 1893) и перевода „Жизни женщины“ Мопассана (М. 1900.—2-е изд. М. 1904.—3-е изд. 1911. Все три изд. „Посредника“).

Л. Шепелевич.—Наши современники. Спб. 1899.

Ж. Лематр.—Современные писатели. Спб. 1891.

Р. Думик—при 12-м томе „Сочинений“ Мопассан. (изд. 1894 и 1896 г.) и при 3-м томе „Полного собрания сочинений“ Мопассана (Киев. 1900).

Г. Брандес.—Зверь в человеке. Одесса. 1894.—2-е изд. 1895.—См. еще „Собрание сочинений“ Г. Брандеса, т. 12-й (Киев. 1903).

С. Андреевский.—Литературные очерки. Изд. 3-е. Спб. 1902.—Изд. 4-е. Спб. 1913.

М. Протопопов.—В „Русском Богатстве“ 1895 г. №№ 7 и 8.

Я. Абрамов.—Певец тоски. Спб. 1897.

Аркадий Пресс.—Писатели XIX века (Характеристики). Книга I. Спб. 1901.

Отдельно:

Собрание литературных портретов в характеристиках. Гюи де-Мопассан. Спб. 1902.—Также в сборнике „В царстве книг“. Т. I. Изд. 2-е. Спб. 1908.

Поль Нэве и Фед. Сологуб.—Вступительные статьи в 1-м томе „Полного собрания сочинений“ Мопассана, изд. „Пантеон“ (Спб. 1909) и в 30-м томе, изд. „Шиповник“ (Спб. 1912).

З. Венгерова.—Литературные характеристики. Кн. III. Спб. 1910.

Эдуард Маниаль.—Мопассан. Его жизнь и творчество. Перев. с франц. Н. П. Кашина. М. 1910. Также в 30-м томе "Сочинений" Мопассана, изд. "Шиповник" (Сиб. 1913).

Ф. Тассар.—Воспоминания о Гюи де-Мопассане его слуги Франца. Сиб. 1913.

Ю. Айхенвальд.—Слова о словах. Сиб. 1916.

Сочинения Мопассана имеются по-русски в целом ряде изданий. К числу законченных, более или менее полным изданий, относятся следующие:

Собрание сочинений (Собрание романов, повестей и рассказов). Изд. "Вестника Иностранной Литературы". 12 т. Сиб. 1894.—Изд. 2-е. Сиб. 1896.

Полное собрание сочинений в 3 томах. Перев. с фр. под ред. П. Д. Доброславина. Изд-во Ф. А. Югансона. Киев. 1900.—Тоже в 4 томах. Киев. 1904—1908.

Полное собрание сочинений. Изд. Ф. И. Булгакова. 12 т. Сиб. 1905.—Т. XIII (Дополнительный). Сиб. 1907.—Тоже в 15 т. Сиб. 1911—12.

Полное собрание сочинений и письма. С иллюстрац. и критико-биографич. очерком З. А. Венгеровой. Книг-во "Просвещение". 15 т. Сиб. 1908—1911.

Полное собрание сочинений. Книг-во "Шиповник", 30 т. 1910—1912. (Издание это начато было под фирмой "Пантеон" в 1903 г., но остановилось на 13-м томе).

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Предисловие Раф. Григорьева . . .	5— 18
В деревне.	19— 28
Перев. Александры Чеботаревской.	
Дочь Мартина	29— 39
Перев. Е. Святловского.	
История девушки с фермы	40— 69
Перев. С. Городецкого.	
Пьяница	70— 78
Перев. А. Элиасберга.	
Старик	79— 90
Перев. А. Элиасберга.	
Кролик	91—104
Перев. И. Сидович.	
Правдивая история	105—113
Перев. А. Элиасберга.	
Покупка	114—123
Библиография.	124—125
Перев. Е. Святловского.	

ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“
ПЕТЕРБУРГ
Моховая №36.

ЦЕНА 20 РУБ.